

КОНСТАНТИН
ВАГИНОВ

Козлиная песнь



Константин Вагинов

Козлиная песнь (сборник)

«Public Domain»

2008

Вагинов К. К.

Козлиная песнь (сборник) / К. К. Вагинов — «Public Domain», 2008

«Константин Константинович Вагинов был один из самых умных, добрых и благородных людей, которых я встречал в своей жизни. И возможно, один из самых даровитых», – вспоминал Николай Чуковский. Писатель, стоящий особняком в русской литературной среде 20-х годов XX века, не боялся обособленности: внутреннее пространство и воображаемый мир были для него важнее внешнего признания и атрибутов успешной жизни. Константин Вагинов (Вагенгейм) умер в возрасте 35 лет. После смерти писателя, в годы советской власти, его произведения не переиздавались. Первые публикации появились только в 1989 году. В этой книге впервые публикуется как проза, так и поэтическое наследие К. Вагинова.

Содержание

Труды и дни Константина Вагинова	5
Козлиная песнь	15
Предисловие,	15
Предисловие,	16
Глава I. Тептелкин	17
Глава II. Детство и юность неизвестного поэта	20
Глава III. Междусловие	24
Глава IV. Тептелкин и неизвестный поэт	25
Глава V. Философия Асфоделиева	28
Глава VI. Генерал Голубец и корнет Ковалев	30
Глава VII. Книга Тептелкина	32
Глава VIII. Неизвестный поэт и Тептелкин ночью у окна	35
Глава IX. Поэт Сентябрь и неизвестный поэт	37
Глава X. Некоторые мои герои в 1921–1922 гг	40
Глава XI. Остров	45
Глава XII. Расцвет	51
Глава XIII. Осень	53
Глава XIV. После башни	54
Глава XV. Свои	56
Глава XVI. Вечер старинной музыки	59
Глава XVII. Путешествие с Асфоделиевым	63
Глава XVIII. Тептелкину кажется, что за ним гонятся его друзья	65
Глава XIX. Междусловие	66
Глава XX. Появление фигуры	67
Глава XXI. Мучения	70
Глава XXII. Женитьба	73
Глава XXIII. Ночное блуждание Ковалева	75
Глава XXIV. Опытная мобилизация	77
Глава XXV. Под тополями	78
Глава XXVI	81
Глава XXVII. Междусловие	82
Глава XXVIII. Тептелкин и Марья Петровна	83
Глава XXIX. Костя Ротиков	86
Глава XXX. Черная весна	90
Глава XXXI. Неизвестный поэт	93
Конец ознакомительного фрагмента.	96

Константин Вагинов

Козлиная песнь. Романы.

Стихотворения и поэмы

Труды и дни Константина Вагинова

Однофамильцев у него не было. Человек с искусственной, выдуманной фамилией, он не передал ее и потомкам, которых тоже не было.

Таким же особняком, как кажется, стоит Вагинов в литературе. Новаторство формы и античные аллюзии его стихов; автобиографичность, ирония и аллегоризм прозы; отдельные черты писательской личности – педантизм коллекционера и граничащая с пародией переимчивость, мистическая сосредоточенность и озорство мистификатора – всему этому нетрудно подыскать аналогии в современном Вагинову и более раннем литературном контексте. Сопоставляющего, однако, разрушает причудливое сочетание этих черт, их парадоксальное единство. Почтительность эрудита-книжника по отношению к культурным реалиям прошлого неотделима у Вагинова от личных пристрастий и непредсказуемых вольностей, так что старые культурные знаки органично включаются в фантастическую эклектику его стиля. В этом стиле – отражение общей эклектики той странной эпохи, потерявшей прежнее, но так и не обретшей нового лица.

Исторический перелом расколол его жизнь пополам, и как ни тянулась вторая, связанная с литературой, половина к утраченной первой, восстановление цельности было уже неосуществимо. Отсюда, быть может, характерное ощущение ничейности, подвешенности в пустоте; задолго до критических облав – ощущение пасынка эпохи, или, вернее, подкидыша:

Вечером желтым как зрелый колос
Средь случайных дорожных берез
Цыганенок плакал голый
Вспоминал он имя свое
Но не мог никак он вспомнить
Кто, откуда, зачем он здесь...¹

Стремясь хоть как-то поучаствовать в литературной современности, он охотно вступал в разные поэтические содружества и группы. Но настоящего единения не получалось, и сравнение Вагинова с другими участниками любой из групп оборачивается, как правило, противопоставлением. Да и реалии его прозы, порой откровенно списанные с натуры, при ближайшем рассмотрении оказываются вневременными, их мнимая связь с реальностью отзывается тонкой иронией. Внешне принадлежа своему времени, он на деле существовал в живых для него мирах культур далекого прошлого, таких, как эллинизм и испанское барокко, итальянское Возрождение и французское Просвещение. Это двойное существование сообщало его созданиям оттенок нездешней призрачности – она-то и очаровывала эстетов, болезненно раздражая критиков. Отношение догматической критики – вот, пожалуй, единственное, благодаря чему Вагинов оказался вписанным в анналы эпохи рядом с писателями своего поколения. «Если она» (поэзия Вагинова) «даже и не представляет законченной буржуазной идеологии, то несет на себе несомненный тягостный ее груз, представляя идеологию тех слоев буржуазной и мел-

¹ Начало стихотворения без названия, датированного 16.V.1921 г. – ЦГАЛИ, ф. 2823, оп. 1, ед. хр. 89, л. 51.

кобуржуазной интеллигенции, сознание которых, отравленное тлетворным дыханием культуры эксплуататорской, не может принять действительности побеждающего социализма, пытается найти спасенье в созданном ими идеалистическом мире бредового искусства»². Вот голос критика-современника, ставящий все на свои места. Писатель умер своей смертью, но на его имя надолго легла печать официального забвения.

Константин Константинович Вагинов родился 4 (16) апреля 1899 года в Петербурге. Его отец, подобно многим военным немецкого происхождения, изменил свою немецкую фамилию Вагенгейм на русский лад в годы Первой мировой войны. В юности будущий писатель увлекался искусством и историей античности, археологией, нумизматикой. Окончив классическую гимназию Гуревича, в 1917 году поступил на юридический факультет Петроградского университета, но с первого же курса был мобилизован в Красную Армию и находился на фронтах Гражданской войны до 1921 года. Интересно, что этот заметный факт вагиновской биографии практически не получил отражения в его творчестве: «Война и голод, точно сон, Оставили лишь скверный привкус»³.

Город, куда Вагинов вернулся с войны, был уже не тем городом, откуда он ушел на войну. Петроград стал «умирающим Петропо-лем», «превратился в декорацию»⁴, наилучшим образом подхвачившую к появлению такого поэта, как молодой Вагинов. В городе, лишившемся промышленности, транспорта, ежедневной деловой суеты, цвела культурная жизнь. Одним из центров ее был знаменитый «сумасшедший корабль» – Дом Искусств, где проходили, в частности, занятия поэтической студии Н.С. Гумилева «Звучащая раковина». «Стихи Вагинова вызывали в нем сдержанное, бессильное раздражение» – они были слишком не похожи на стихи остальных студийцев, влюбленно подражавших мэтру, и вообще «ни на что не похожи»⁵. Но именно благодаря этой непохожести, этой упрямой самостоятельности Вагинов стал самым значительным поэтом из всех, начинавших в «Звучащей раковине».

Тогда же, в 1921 году, образовалась первая литературная группа, в которой Вагинов принял участие, – «Аббатство газров». Помимо него, туда входили Б.В. и В.В. Смиренские и К.М. Маньковский. Вступил он и в «Кольцо поэтов» имени К.М. Фофанова – затеянную братьями Смиренскими дутую организацию с пышным уставом; приглашения вступить в «Кольцо» были разосланы десяткам литераторов самых разных направлений. Изданием «Кольца поэтов» вышло несколько книг, в том числе первая книга стихов Вагинова «Путешествие в хаос» в количестве 450 экземпляров.

«Путешествие в хаос» – путешествие внутрь собственного сознания, открытие в нем клубящейся бездны, устрашающе далекой от гармонии классического идеала. Смятение души поэта созвучно грандиозным внешним потрясениям, которые, однако, остаются «за кадром». 1919 годом датирован вопиюще декадентский цикл «Острова»: «О, удалимся на острова Вырождений...». «Островитяне» – так называлось и содружество, в которое Вагинов вошел в том же 1921 году вместе с Н. Тихоновым, С. Колбасьевым, П. Волковым. Н. Тихонов объяснял название тем, что «из островов растут материки»⁶, но не исключено, что для Вагинова оно несло смысл, более близкий к смыслу его поэтического цикла.

Трагедия поколения, читающаяся в «Путешествии...», – не столько трагедия исторического выбора, сколько эстетическая трагедия:

Кусает солнце холм покатый,

² С. Малахов. Лирика как орудие классовой борьбы (О крайних флангах в не proletарской поэзии Ленинграда). – «Звезда», 1931, № 9, с. 164.

³ Из стихов к неосуществленному второму изданию романа «Козлиная песнь».

⁴ См.: И.М. Наппельбаум. Памятка о поэте. – Четвертые Тыняновские чтения, Рига, 1988, с. 91.

⁵ Г. А(дамович). Памяти К. Вагинова. – «Последние новости», 1934, № 4830, с. 3.

⁶ См.: Н. Тихонов. Устная Книга. – «Вопросы литературы», 1980, № 6, с. 126.

В крови листва, в крови песок...
И бродят овцы между статуй,
Носами тычут в пальцы ног.

Вагинов смотрит на события словно из отдаленного будущего или скорее из прошлого. Возможно, сказались детские увлечения, впоследствии приписанные «неизвестному поэту» – герою романа «Козлиная песнь»: перебирая старые монеты, «будущий неизвестный поэт» приучался к непостоянству всего существующего, к идее смерти, к перенесению себя в иные страны и народности. Ему же отдаст Вагинов апеллирующую к декадансу «концепцию опьянения» – стремление к побегу в себя, которому предается герой стихотворения «Кафе в перелуке», вещающий в наркотическом бреду:

О, мир весь в нас, мы сами – боги,
В себе построили из камня города
И насадили травы, провели дороги,
И путешествуем в себе мы целые года...

Но опьянение проходит, и тот, кто мнил себя богом, лепечет: «это только сон...». Намеченная, пока еще прямолинейно, тема соотношения мира осязаемого с миром воображаемым, творимым станет одной из центральных вагиновских тем.

Здесь уже проявилось стремление Вагинова-поэта мыслить не отдельными стихотворениями, а едиными циклами, от небольших по-эмообразных структур (таких, как «Ночь на Литейном», «Петербургский звездочет», «Финский берег» и др.) до целых поэтических книг (за «Путешествием в хаос» последовали «Петербургские ночи», «Опыты соединения слов посредством ритма», «Звукоподобия»). «Путешествие в хаос» – единое целое, скрепленное сквозными знаками: зелень, луна, стада камней, хрусталь, туман, игральные карты. Особую роль играют образы, имеющие отношение к христианству, причем авторская позиция по отношению к ним необычна. Иисус предстает безумцем в «дурацком колпаке», с представлением о нем совмещается доминирующая тема хаоса: «Хаос – арап с глухих окраин Карты держит, как человеческий сын».

Переводя ситуацию революционной России на язык веков и одновременно на язык модного в ту пору шпенглеризма, Вагинов развивает идею «христианства-хаоса» в двух небольших прозаических произведениях: «Монастырь Господа нашего Аполлона» и «Звезда Вифлеема» (1922). Отождествление новой эры русской истории с новой фазой христианства было характерно для немалой части интеллигенции, воспитанной на идее «народа-богоносца». У Вагинова ряды отождествлений строились определенно: старый мир – античность – культура; новый мир – христианство – варварство – цивилизация. Понятие христианства подвергается переоценке, в нарушение мощной традиции русской культуры. Но и античность не противопоставляется ему как идеал гармонии, являя распад, не менее неприглядный, чем становление – «христианство». Между призрачным становлением и распадом существует вагиновский герой.

Конфликт, оказывается, не равен противопоставлению аполлонического начала дионисийскому или христианскому. Более того, Аполлон и Иисус становятся как бы двумя лицами одного божества; не случайно в одном из юношеских стихотворений Вагинов видит обоих вместе тоскующими в сибирских снегах. В «Монастыре Господа нашего Аполлона» раненное цивилизацией и подобранное братией античное божество восстанавливает силы тем, что пожирает, одного за другим, тех, кто ему поклоняется, оставляя в кельях обглоданные кости. Миф о пришествии Аполлона – один из основных трех мифов, составляющих то, что Л. Чертков назвал вагиновским «туманным эпосом». Очевидно, среди источников этого первого мифа – новелла «Аполлон в Пикардии» из книги У. Патера «Воображаемые портреты», которая с дет-

ства была одной из любимых вагиновских книг. В этой новелле «гиперборейский Аполлон», бог-изгнанник, наводит ужас на жителей заальпийских стран своими поистине дьявольскими деяниями. В поисках новых жертв он пролагает свой путь «сквозь Францию и Германию к еще более бледным странам»⁷, где, очевидно, и повстречает его поэт:

Проклятый бог сухой и злой Эллады
На пристани остановил меня.

Аполлоническое – демоническое начало пленяет, мучает, не отпускает. Власть искусства – «проклятого бога» страшна, но освободиться от нее невозможно, да и некуда. Что такое жизнь? Суета «вифлеемцев», цивилизация, чьи достижения – радиий, паровоз, Пикассо – в аполлонической системе ценностью не обладают. Но и сама эта система обезображена распадом. Искусство – не спасительная альтернатива, но темное и небезопасное дело, затягивающее, как карты, и такое же обманчивое, губительное, беспечное. Трехликое единство с темами азартной игры и губительного искусства составляет тема безумного собирательства. Герой вагиновской прозы часто коллекционер – собирает ли он книги, конфетные бумажки или занятных знакомых. К этой породе людей принадлежал и сам писатель: он коллекционировал не только монеты, спичечные коробки, ресторанные меню, странные и редкие книги, но, «как драгоценный антиквариат, он собирал неповторимые человеческие индивидуумы. Было что-то в этом даже болезненное»⁸. Видимо, собирательство возникает из стремления противостоять всеобщей энтропии, приватным образом приостановить или не заметить глобальное наступление хаоса – трогательная попытка человека создать свой маленький разумный мир, где все в порядке, все понятно, послушно и разложено по полочкам.

Второй миф «туманного эпоса» – миф о Филострате. Вагиновский Филострат далеко ушел от своего античного прообраза⁹, стал олицетворением конфликта переосмысленных понятий христианства и античности. Это призрачный летописец, «носитель мифопоэтического сознания, одновременно находящийся в прошлом и в настоящем»¹⁰. Отождествляя себя с Филостратом, автор «Звезды Вифлеема» употребляет эпитет «последний»: тут и намек на род писателей Фило-стратов, к которому принадлежал Флавий Филострат, и эсхатологический оттенок: «Новая Эра наступает», и никаких Филостратов больше не будет. Еще один излюбленный античный двойник Вагинова – Орфей, отождествляемый, как и Филострат, с целым поколением: «...Рассеянному поколению Орфеев, Живущему лишь по ночам».

Миф об Орфее в вагиновском «эпосе» наиболее близок к классическому мифу и вместе с тем, связанный с двумя другими, является аллегорией искусства: «поэт должен быть, во что бы то ни стало, Орфеем и спуститься во ад, хотя бы искусственный, зачаровать его и вернуться с Эвридикой – искусством, и (...), как Орфей, он обречен обернуться и увидеть, как милый призрак исчезает» («Козлиная песнь»).

Ночь, волшебная и страшная «ночь духа» – тот искусственный ад, куда спускается поэт-Орфей за своим искусством, исчезающим при свете дня. «Петербургские ночи» – называлась вторая и, по нашему мнению, самая лучшая книга стихов Вагинова, которую он составил в 1922 году и надеялся выпустить в Госиздате или в издательстве «Круг». Сквозной мотив ночи вписывается в цепочку: ночь – загробный мир – искусство – античность – старая культура.

⁷ Уолтер Патер. Воображаемые портреты. Предисловие и перевод П. Муратова. – М., 1916, с. 115.

⁸ И.М. Наппельбаум. Памятка о поэте. – Указ. изд., с. 92. См. также: А. Блюм, И. Мартынов. Петроградские библиофилы. – «Альманах библиофила», 1977, вып. 4, с. 219.

⁹ Флавий Филострат (2–3 вв. н. э.), греческий софист, был членом кружка Юлии Домны, матери римского императора Каракаллы, и по ее заказу составил «Жизнеописание Аполлония Тианского», чудотворца и пророка, чья агиографическая фигура может быть противопоставлена фигуре Христа. См.: Флавий Филострат. Жизнь Аполлония Тианского, М., 1985.

¹⁰ Т.Л. Никольская. К.К. Вагинов. – Четвертые Тыняновские чтения, с. 74.

Все это знаки уходящего, разрушающегося мира (разумеется, не в узкополитическом смысле). Этот мир дорог Вагинову, это его мир – и все же он стремится вырваться оттуда, то с иронией, то с отчаянием отталкивая льнувший призрак лунной ночи, священного безумия. Другой сквозной мотив – заря – принадлежит цепочке с противоположным значением: заря – жизнь – цивилизация – наступающий «новый мир». Постепенно неприятие «зари» сменялось у Вагинова осознанием ее неизбежности и своей миссии очевидца, летописца, которому суждено, погибая вместе с «ночью», воспеть ее гибель: «Я миру показать обязан Вступление зари в еще живые ночи».

Интересна единственная, наверное, попытка современника беспристрастно сказать о месте вагиновских стихов в истории русского поэтического языка – небольшая статья Б.Я. Бухштаба на выход сборника стихотворений Вагинова (без названия) 1926 года¹¹. «В Вагинове разложение акмеистической системы достигло предела (...) У Вагинова нет своих слов. Все его слова вторичны», «выветрены литературой». «Чужие слова, чужие образы, чужие фразы, но все вразлом, но во всем мертвящая своим прикосновением жуткая в своем косноязычии ирония», – заканчивает статью Бухштаб. Именно эта ирония, как компрометация форм чужого, умирающего поэтизма, наверное, и сблизил Вагинова с будущими обэриутами. Союз Вагинова с обэриутами был недолгим и не особенно прочным, однако он упомянут в их манифесте 1928 года и принял участие в знаменитом вечере «Три левых часа», на котором выступал в сопровождении классической балерины¹².

Перерождение началось с отчуждения от самого себя, прощания с собою – Орфеем: «Я – часть себя. И страшно и пустынно. Я от себя свой образ отделил...». В 1927 году журналом «Звезда» были опубликованы главы из романа «Козлиная песнь», полностью роман вышел в 1928 году в издательстве «Прибой». Проза стала для Вагинова дверью из тупика поэзии. Это попытка понять и, наверное, преодолеть самого себя, свое непонятное, мучительное искусство. Тот, кто был лирическим героем его стихов, в прозе объективируется, распадается на персонажи, в каждом из которых – частица автора. Теперь за ними можно понаблюдать и даже посмеяться. Лирический герой отступает на другие позиции, но там наступает его следующий роман, следующая ступень остранения. Искусственная реальность затягивает человека в свое несуществующее пространство; в образы искусства рядится смерть, и, убегая от нее, меняет обличья вагиновский герой. Путь трансформации и в конце концов гибель этого героя – сквозной внутренний сюжет четырех вагиновских романов. Не связанные, как правило, общими персонажами, они объединены главными темами: трагедия поколения, попавшего в трещину между мирами «старым» и «новым», и трагедия человека, попавшего в трещину между мирами внешним и внутренним.

Действие всех этих романов происходит в Петрограде – Ленинграде 20-х и 30-х годов. Герои не столько правдоподобны, сколько узнаваемы в реальных прототипах. Однако кажущаяся прочность пространственно-временных рамок лишь подчеркивает ту «свободу от времени и пространства»¹³, которая наполняла вагиновские стихи. Слова скользят по кромке видимой реальности – тут и там покров ее истончается до прозрачности, и под ним проступают могучими чертами античность или чернеют провалы в стремительные тоннели опьянения. И эта условность, постоянная готовность оторваться и улететь сочетаются с насмешливым описанием нравов и деталей быта, с конкретикой улиц и площадей, мостов и каналов, зданий, парков и статуй. Именно в этих причудливых сочетаниях нашлось нечто такое, что ускользало из стихов, а именно – смешное, способное оттенить и спасти любой пафос.

¹¹ См.: Б.Я. Бухштаб. Вагинов. – Тыняновский сборник. Четвертые Тыняновские чтения, Рига, 1990, сс. 271–277.

¹² См.: И.В. Бахтерев. Когда мы были молодыми. – В кн.: Воспоминания о Н. Заболоцком. – М., 1984, с. 90.

¹³ Вс. Рождественский. Петербургская школа молодой русской поэзии. – «Записки Передвижного театра П.П. Гайдебурова и Н.Ф. Скарской, 1923, № 62, с. 2.

Вагинов-поэт часто говорил о самостоятельности слов, не только равноправных стихотворцу, но и властвующих над ним. «Необъяснимый хоровод» слов, своевольно сочетающихся и расстающихся друг с другом, сродни птичьему языку Филомелы – полночного соловья. Вагинов хотел вернуться к первобытным, подсознательным истокам поэтического творчества. Но у того, кто, подобно ему и его герою, «парк раньше поля увидел, безрукую Венеру прежде загорелой крестьянки», подсознание далеко от первобытной естественности. «Так в юности стремился я к безумью, Загнал в глухую темь познание мое...». Опынания, искусственного безумия мало: главное здесь – «сопоставление слов». Очевидно, пытливого, исследовательского отношения к слову также послужило основой для сближения Вагинова с обэриутами, деклариовавшими принцип «столкновения словесных смыслов».

«В юности моей, сопоставляя слова, я познал вселенную и целый мир возник для меня в языке и поднялся от языка, – говорит „неизвестный поэт“ в „Козлиной песни“. – И оказалось, что этот поднявшийся от языка мир совпал удивительным образом с действительностью». Такой же поднявшийся от языка мир, почти полностью совпавший с действительностью, – сам роман, в сложной системе зеркальных самоотражений созданный собственным героем: очередная версия древнейшей догадки о слове, порождающем мир. И чем разительнее совпадение созданного мира с заданным, тем страшнее и опаснее для владеющего словом его искусство.

«Козлиная песнь» – все еще явная «проза поэта», и главной ее темой закономерно становится гибель поэта, причина которой – естественно наступающая внутренняя исчерпанность. «Неизвестный поэт» – поэтическая ипостась человека и мира; его внутреннее банкротство – крах целого мировоззрения. Развращенный «концепцией опынания», его мозг отказывается сотрудничать с недеформированной реальностью, стремится к логическому завершению этой концепции – к сумасшествию. Вершина романа – сцена безумной волевой попытки сойти с ума, в отстраненном описании которой еще сквозит недавнее отчаяние. После этого роман ломается и начинается стремительное скольжение вниз. «Неизвестный поэт» разжалован в «бывшего поэта» по фамилии Агафонов, которому остается только застрелиться.

«Козлиная песнь» – буквальный перевод греческого слова «трагедия» – кажется гибридом «лебединой песни» и «козлиного голоса», в соответствии с изображенной в романе трагикомедией петербургских «эллинистов». Поколение эстетов, исповедующее ценности, оказавшиеся неуместными в жестких исторических условиях, вынуждено восполнять недостаток жизнеспособности самоиронией. В этой ситуации эстетическая трагедия может обернуться эстетическим фарсом, как, например, в коллекции безвкусицы, которую собирает один из персонажей, тонкий эстет Костя Ротиков.

Для другого персонажа, Тептелкина, культура – смысл всей жизни. Подобно «неизвестному поэту», в условно первой части романа он устремлен вверх, во второй – вниз. Никто так не жаждет Возрождения, никто так не верит в идеалы мировой культуры, и никто так горестно не расшибается, как Тептелкин. Он написан «смешным» с обывательской точки зрения: «шляпа», «очкарик» старого толка, для которого какое-нибудь древнеегипетское словцо или мелкое совпадение Пушкина с Парни важнее, чем вопрос о том, во что он одет и чем будет ужинать. В мирные, кабинетные уолтер-патеровские времена блаженный чудака не от мира сего, теряющий платки и трости, вызывает у обывателя добродушную улыбку. Но он же, пытающийся создать университет в южном городке в разгар Гражданской войны, – кто он: враг народа, сумасшедший, подвижник? Да, Тептелкин и другие «последние гуманисты» описаны Вагиновым достаточно иронично. Но эта ирония уместна лишь в устах того, кто пропустил через себя, подобно Вагинову, великие иллюзии мировой культуры. Такое явление, как саморазрушение гуманитарного сознания, не зависит от эпохи и строя. Подобно «неизвестному поэту», пробуждающемуся из поэтического опынания в плоскость жизни, «откуда выход – смерть», Тептелкин пробуждается от блаженного ощущения сопричастности «миру светлых духов» в растаптывающее прозрение: «все конторщики так же чувствуют мир». Замыкаясь на себя, отдельное гумани-

тарное сознание терпит крах (бывает – временный), срываясь в бездну несуществования: все, чему отдана моя жизнь, лишь слова о словах.

Вагинов от души посмеялся над героями, искусно введя современников, да и потомков в заблуждение, будто «Козлиная песнь» – сатирический роман. Кое-кто из хорошо узнаваемых прототипов не на шутку разобиделся. Кроме того, изменилась расстановка сил в литературе, а с ней и общий тон, цели и задачи литературной критики; проза Вагинова оказалась столь же современной по форме и содержанию в широком литературном контексте, сколь несвоевременной в конкретных условиях литературного быта.

Начинались массированные критические облавы, одни писатели замолкали, другие приспособлялись к новым обстоятельствам. Вагинов не был борцом. Он просто продолжал писать так, как считал нужным. Его звала следующая ступенька ostranenia – требовалось осмыслить собственный прозаический опыт. Развернутая в лицах «проблема автора», продолжение начатой в «Козлиной песни» игры с кривыми зеркалами – роман «Труды и дни Свистонова», выпущенный в 1929 году «Издательством писателей в Ленинграде». В заглавии – вновь ироническая аллюзия к античности. Свистонов – «говорящая» фамилия, за которой не только общепринятая, поверхностная семантика («свистун», говорящий и живущий впустую), но и специфически вагиновская: «Я не люблю зарю. Предпочитаю свист и бурю...» – эсхатологический свист пустоты.

Свистонов не может без затей жить своей жизнью в заданном мире: он – функция, проводник между этим миром и творимым миром прозы. Как «неизвестный поэт» – алхимическую лабораторию стихотворчества, так Свистонов отмыкает перед нами страшноватую кухню прозы. Иногда источником вдохновения служат для него книги или газетные вырезки, но главный материал – люди. Свою теорию взаимоотношений между литературой и жизнью Свистонов излагает идеальному слушателю – глухонемой прачке. Искусство, говорит он, – «борьба за население другого мира», «литература по-настоящему и есть загробное существование». Такое развитие идеи взаимосвязи внутренней и внешней сфер реальности порождает фантазмагорическую материализацию «перевода» человека из жизни в литературу. Умозрительный «поэт», безгласно возражающий Свистонову от имени его прошлого, называет его подход к жизни «мефистофельским». Свистонов вовсе не претендует на роль Мефистофеля, он хочет быть «художником, и только». Но, как бы выполняя волю своих знакомых – потенциальных персонажей, он выводит их из этой жизни, соблазняет иной, он – владыка иного мира. Они же, оказываясь там, пугаются и сопротивляются – убегая от смерти, «увечковечиваясь», они попадают прямехонько в смерть.

Сам Свистонов, как и «автор» «Козлиной песни», живет в том мире, который изображает, более того – старается как можно глубже врасти в этот изображаемый мир. «Труды и дни Свистонова» – роман о победе искусственного, выдуманного, созданного мира, о победе искусства – как и финал «Козлиной песни». Но в том финале еще не ясно, чем оборачивается эта победа, чем является победивший искусственный мир – а ведь он является смертью. Так обманываются герои «Трудов и дней», и прежде всех сам Свистонов, вовсе не тот злоумышленник, каким поспешили изобразить его разоблачители-критики. Он даже не метафизический злоумышленник; он – орудие искусства и должен принести в «жертву Аполлону» всех кругом, и себя в первую очередь. Если «неизвестный поэт» мыслит себя Орфеем, спускающимся в искусственный ад за Эвридикой – искусством, то Свистонов, подобно Харону, перевозит людей в иной мир, но наконец сам остается на том берегу, «целиком переходит в свое произведение». Финал романа представляется противоположным финалу набоковского «Приглашения на казнь»: Цинциннат Ц. освободился, вышел из рушащегося картонного мира туда, где «стояли существа, подобные ему», Свистонов же уподобился существам искусственного, созданного им самим мира и навеки заперся с ними в нем. Надо сказать, что на самом деле метод «перевода» живых людей на бумагу вполне обычен для прозы, но Вагинов, оказавшись в

новой для себя роли прозаика, сумел прочувствовать нормальное писательское поведение как какое-то утонченное злодейство, причем неосознанность этого злодейства не отменяет неизбежной расплаты. На всех героев он смотрит двойным взглядом: один взгляд – свистоновский, потребительски-цепкий, другой – вагиновский, при всей ироничности исполненный жалости к людям, малодушно спасающимся от жизни и смерти, от самих себя, и стыда за Свистонова, свою собственную писательскую природу. Не в последнюю очередь именно этот второй взгляд, подспудно присутствующий в романе, спровоцировал критиков на трактовку Свистонова как какого-то Джека-потрошителя, что было бы, пожалуй, смешно, когда бы не было так угрожающе серьезно.

Несмотря на явное ужесточение литературной ситуации, «Издательство писателей» продолжало печатать Вагинова и в 1931 году выпустило книгу его стихов «Опыты соединения слов посредством ритма». В книгу вошел, с незначительными изменениями, сборник 1926 года, в свое время замеченный лишь в близких автору литературных кругах, а также новые и некоторые ранние стихи. Книге было предпослано анонимное предисловие, написанное коллективно в редакции издательства. В предисловии была сделана попытка восстановить официальную литературную репутацию автора, опровергнуть два основных пункта, по которым громили Вагинова критики: неоправданность эксперимента в области формы и «отрыв от современности» – в содержании. Но, конечно, в новых условиях попытка была обречена. В августе-сентябре 1931 года Ленинградский отдел ССП провел «творческую дискуссию» – ряд собраний, призванных выявить «реакционные тенденции» в разных областях художественного слова. На одном из собраний выступил критик С. Малахов, избравший Вагинова одной из мишеней своего доклада «Лирика как орудие классовой борьбы». Вагинову пришлось выступать с ответом. По устному преданию, кто-то из литераторов встал и сказал: «Оставьте Вагинова в покое, он и так скоро умрет». В то время Вагинов был уже неизлечимо болен, ему оставались считанные годы.

В конце 1931 года в том же издательстве вышел его роман «Бамбочада». Замаскированная в заглавии тема автора-«калеки» напоминает о «трехпалом авторе» «Козлиной песни»; возможен и безжалостный по отношению к самому себе намек на туберкулез, который поразит и героя нового романа.

Тема искусства – искусственного существования – творимой реальности продолжается в романе как тема игры в расширенном смысле. Идея здесь аналогична идее «Козлиной песни»: сохранение культуры. Только в данном случае – культуры материальной, также восходящей к античности и Возрождению: греко-латинские прозвища, культ красивой еды с хорошим вином, музицированием и занимательными беседами, и все это на слегка намеченном диссонирующем фоне рубежа 20-30-х годов. Идеолог этого образа жизни, построенного не столько на материальной обеспеченности, сколько на проникновении в сущность, «душу» предметов с их преходящей прелестью, – Торопуло, страстный кулинар, коллекционер меню и конфетных бумажек. «Моя область – кулинария, широко понимаемая», – говорит он. Кредо его молодого друга, главного героя романа с легкомысленной фамилией Фелинфлеин, – столь же широко понимаемая игра. Вся жизнь для него – «игорный дом» или «фантастический бытовой театр»; можно сказать, что его дух находится на эстетической, по С. Кьеркегору, стадии, в основе которой лежит всепроникающая ирония. Он и сам говорит: «наше горе заключается в том, что ко всему мы относимся иронически».

Гурманство, коллекционирование мелочей, смакование старинной и новой музыки, редких книг и гравюр – все это попытки удержать, увековечить материальную прелесть жизни. Но ни перемена мест, ни друзья, ни яства, ни музыка, ни книги, ни женщины не спасают Евгения от приступов скуки и тоски. Правда, долго скучать ему не придется: беспредметная тоска материализуется в смертельную болезнь. Теперь надо бежать не от себя самого, а от съедающего легкие туберкулеза. Ситуация, в которую попадает этот «игрок по природе» – универсаль-

ная экзистенциальная ситуация ожидания смерти, одна из ключевых ситуаций модернизма. Ирония, игра, эстетство – оборваны, как легкие паутинки. В санатории, куда попадает Евгений в финале романа, зимняя оттепель, тает снег, березы выпускают почки, которым суждено замерзнуть. Герой рассматривает надписи, покрывающие полуколонны беседки, «прелестные нежные надписи», запечатлевшие чью-то любовь, чью-то жизнь. Скорее всего, это подлинные надписи, списанные Вагиновым в одном из санаториев, где он часто бывал в последние годы. Эти надписи – плод безотчетного стремления смертного человека увековечить себя, и с сочувствием, не лишенным мягкой иронии, Вагинов увековечивает их в книге. Но не суждено ли и ей кануть в реку забвения?

«Бамбочада» – последняя из опубликованных при жизни книг Вагинова. В № 1 «Звезды» за 1933 год появились три стихотворения из составленного им, но не изданного сборника «Звукopodobия». О стихотворениях этого сборника говорить трудно. Слова, некогда поражавшие невероятностью сочетаний, завораживавшие нездешней музыкой, теперь побледнели, потускнели, притихли; от прошлого осталась лишь неистребимая странность тающих смыслов. Но есть в этих стихах, более похожих на тени стихов, и некая последняя свобода и легкость, хотя уже никакой надежды на «жизнь»:

Я понял, что попал в Элизиум кристальный,
Где нет печали, нет любви,
Где отраженьем ледяным и дальним
Качаются беззвучно соловьи.

Тем временем «Издательство писателей» вернуло Вагинову на доработку рукопись его последнего романа, получившего название «Гарпагонииана» – по имени мольеровского скупого. Здесь бунт предметов перерастает рамки способа выражения и становится темой. Ритм, внутренняя музыка вагиновской прозы остались прежними, но пропал заполнявший пустоты одухотворяющий эфир, впитался разбухшими, гипертрофированными деталями.

Важное отличие романа от всего ранее написанного Вагиновым – отсутствие в нем автора. Прежде зримое или незримое его присутствие оживляло персонажей и предметы, так что даже смешное, пугающее и жалкое обнаруживало черты тонкой прелести и трогательной печали; здесь герои вызывают лишь жалость, любопытство и презрение. В предыдущих романах можно найти если не фигуру автора, то лицо или лиц, на которых он себя проецирует: от «последнего Филострата», через «неизвестного поэта» и Свистонова к Фелинфлеину можно проследить определенную эволюцию этих лиц по линии постепенного «отделения», отчуждения «своего образа». В четвертом романе это отчуждение представляется полностью состоявшимся, и в системе вагиновской прозы это окончательная смерть героев. Есть соблазн усмотреть проекцию автора и его поколения в двух персонажах-антиподах, чувствующих себя двойниками, – Анфертьеве и Локонове. Но автор даже не пытается «спасти» их, как спасал когда-то Тептелкина. «Духовная смерть» уже постигла обоих. В парадоксальных метафорах (один – коллекционер снов, другой – продавец снов) видится некое воплощение противоречия между писателем как визионером и писателем как коллекционером, накопителем. Оба, покупатель и продавец снов, бессильно жаждут недоступной им «настоящей» жизни. Локонов мечтает о самоубийстве, но глупо гибнет от руки Анфертьева. Правда, смерть от руки двойника – не то же ли самоубийство?

Очевидно, той же природы, что и засилье предметов в романе, его многочисленные вставные новеллы. В отличие от предыдущих романов рассказы эпизодических лиц кажутся здесь чужеродными вторжениями. С другой стороны, роман нельзя рассматривать как законченное целое: возможно, в дальнейшем часть сырого материала отпала бы, другая «заиграла» бы в сопоставлении с эпизодами так и не написанных глав. Не исключено, что часть вставок была

сделана в процессе «доработки» «Гарпагонианы» с целью приблизить ее к современности, и неорганичность самой задачи отчасти определила механический характер вставок. Приток материала такого рода может быть связан и с тем, что в то время Вагинов участвовал в написании коллективной книги «Четыре поколения» – о рабочих Нарвской заставы, в сборе материалов для «Истории фабрик и заводов», вел занятия в заводской литстудии, – об этом пишет в своих воспоминаниях Н. Чуковский. Но работать было уже очень тяжело.

Пребывание той зимой в крымском санатории оказалось губительным. В тяжелом состоянии Вагинов прибыл в Ленинград и там 26 апреля 1934 года умер. 30 апреля в газете «Литературный Ленинград» появились некрологи, написанные Вс. Рождественским и Н. Чуковским. Похоронили Вагинова на Смоленском кладбище. Ныне могилу его невозможно отыскать.

Книги имеют свою судьбу. Страстный библиофил, Вагинов переживал за судьбу книги как за судьбу человека, видимо, чувствуя то же, что и его герои, предназначение хранителя. Он отыскивал рассыпанные по книжным развалам крупы человеческого духа, человеческих заблуждений и открытий, крупы смешного и страшного, причудливого и трогательного, сохраненные типографским способом. Его Евгений, листая в санатории трактат итальянского алхимика, думает: «Бедняга Борри!.. И чорт знает как в Ленинграде твой трактат попал в мои руки. И вот эта книжечка, пожалуй, опять затеряется после моей смерти, или, может быть, ее даже разорвут, не подозревая о ее содержании. Ты долго валялась в подвале, затем на миг появилась и теперь должна исчезнуть!» Вагинов запечатлевал забытые имена и названия, точно надписи на стенах беседки-культуры, вопиющие в пустоту.

Он не нужен современности, эпоха в нем не нуждается, – в один голос твердили критики, и, в сущности, были правы. Время не приняло Вагинова даже как «отрицательного» героя. Не только рабоче-крестьянский, но и читатель «своего лагеря» зачастую видел в нем совсем не то, что открывается сегодня нам. Мы, оторванные от тогдашних реалий, иначе оценим его самоотверженное и провидческое пренебрежение к разнообразию политических страстей: оказалось, что эта легкомысленная, высокомерная позиция – одна из немногих, не уничтоженных многоступенчатой переоценкой ценностей. Нам ретроспективно интересен вагиновский стиль, который при нормальном развитии литературы породил бы, возможно, целое течение. У нас вызывает зависть его свобода и самостоятельность в обращении с поэтической формой. Нам, вооруженным последними новостями из истории взаимоотношений искусства с действительностью, близки изыскания Кости Ротикова, первооткрывателя науки о китче, и дотошность Торопуло, регистрирующего жизнь огромной страны с помощью коллекции конфетных оберток. Виднее нам и трагедия вагиновского поколения, до главных актов которой он, к счастью, не дожил.

Блудный сын эпохи, Вагинов перебирал ее смешные, уродливые, милые мелочи с ностальгией, непонятной современникам, но такой близкой потомкам, которым уже не вернуться на покинутую дедами метафизическую родину. Он, не захотевший писать эпоху такой, какой она хотела казаться, увидел в ней вечное, неподвластное воле тех, кто претендовал на роль ее творцов и хозяев. Культура стояла за его плечами, на его стороне.

Анна Герасимова

Козлиная песнь

Предисловие, произнесенное появляющимся на пороге книги автором

Петербург окрашен для меня с некоторых пор в зеленоватый цвет, мерцающий и мигающий, цвет ужасный, фосфорический. И на домах, и на лицах, и в душах дрожит зеленоватый огонек, ехидный и подхихикивающий. Мигнет огонек – и не Петр Петрович перед тобой, а липкий гад; взметнется огонек – и ты сам хуже гада; и по улицам не люди ходят: заглянешь под шляпку – змеиная голова; вступишь в старушку – жаба сидит и животом движет. А молодые люди каждый с мечтой особенной: инженер обязательно хочет гавайскую музыку услышать, студент – поэффектнее повеситься, школьник – ребенком обзавестись, чтоб силу мужскую доказать. Зайдешь в магазин – бывший генерал за прилавком стоит и заученно улыбается; войдешь в музей – водитель знает, что лжет, и лгать продолжает. Не люблю я Петербурга, кончилась мечта моя.

Предисловие, произнесенное появившимся посредине книги автором

Теперь нет Петербурга. Есть Ленинград; но Ленинград нас не касается – автор по профессии гробовщик, а не колыбельных дел мастер. Покажешь ему гробик – сейчас постукает и узнает, из какого материала сделан, как давно, каким мастером, и даже родителей покойника припомнит. Вот сейчас автор готовит гробик двадцати семи годам своей жизни. Занят он ужасно. Но не думайте, что с целью какой-нибудь гробик он изготавливает, просто страсть у него такая. Поведет носиком – трупом пахнет; значит, гроб нужен. И любит он своих покойников, и ходит за ними еще при жизни, и ручки им жмет, и заговаривает, и исподволь доски заготавливает, гвоздики закупает, кружев по случаю достает.

Глава I. Тептелкин

В городе ежегодно звездные ночи сменялись белыми ночами. В городе жило загадочное существо – Тептелкин. Его часто можно было видеть идущего с чайником в общественную столовую за кипятком, окруженного нимфами и сатирами. Прекрасные рощи благоухали для него в самых смрадных местах, и жеманные статуи, наследие восемнадцатого века, казались ему сияющими солнцами из пентелийского мрамора. Только иногда подымал Тептелкин огромные, ясные глаза свои – и тогда видел себя в пустыне.

Бездонная, клубящаяся пустыня, принимающая различные формы. Подымется тяжелый песок, спиралью вьется к невыносимому небу, окаменевают в колонны, песчаные волны возносятся и застывают в стены, приподнимется столбик пыли, взмахнет ветер верхушкой – и человек готов, соединятся песчинки, и вырастут в деревья, и чудные плоды мерцают.

Одним из самых непрочных столбиков пыли была для Тептелкина Марья Петровна Далматова. Одета в шумящее шелковое платье, являлась она ему чем-то неизменным в изменчивости. И когда он встречался с ней, казалось ему, что она соединяет мир в стройное и гармоническое единство.

Но это бывало только иногда. Обычно Тептелкин верил в глубокую неизменность человечества: возникшее раз, оно, подобно растению, приносит цветы, переходящие в плоды, а плоды рассыпаются на семена.

Все казалось Тептелкину таким рассыпавшимся плодом. Он жил в постоянном ощущении разлагающейся оболочки, сгнивающих семян, среди уже возносящихся ростков.

Для него от сгнивающей оболочки поднимались тончайшие эманации, принимавшие различные формы.

В семь часов вечера Тептелкин вернулся с кипятком в свою комнату и углубился в бессмысленнейшее и ненужнейшее занятие. Он писал трактат о каком-то неизвестном поэте, чтоб прочесть его кружку засыпающих дам и восхищающихся юношей. Ставился столик, на столик лампа под цветным абажуром и цветок в горшочке. Садись полукругом, и он то поднимал глаза в восхищении к потолку, то опускал к исписанным листкам. В этот вечер Тептелкин должен был читать. Машинально взглянув на часы, он сложил исписанные листки и вышел. Он жил на второй улице Деревенской Бедноты. Травка росла меж камней, и дети пели непристойные песни. Торговка блестящими семечками долго шла за ним и упрашивала его купить остаток. Он посмотрел на нее, но ее не заметил. На углу он встретился с Марьей Петровной Далматовой и Наташей Голубец. Перламутровый свет, казалось ему, исходил от них. Склонившись, он поцеловал у них ручки.

Никто не знал, как Тептелкин жаждал возрождения. «Жениться хочу», – часто шептал он, оставаясь с квартирной хозяйкой наедине. В такие часы лежал он на своем вязаном голубом одеяле, длинный, худой, с седеющими сухими волосами. Квартирная хозяйка, многолюбивая натура, расплывшееся горой существо, сидела у ног его и тщетно соблазняла пышностью своих форм. Это была сомнительная дворянка, мнимо владевшая иностранными языками, сохранившая от мысленного величия серебряную сахарницу и гипсовый бюст Вагнера. Стриженная, как почти все женщины города, она, подобно многим, читала лекции по истории культуры. Но в ранней юности она увлекалась оккультизмом и вызывала розовых мужчин, и в облаке дыма голые розовые мужчины ее целовали. Иногда она рассказывала, как однажды нашла мистическую розу на своей подушке и как та превратилась в испаряющуюся слизь.

Она подобно многим согражданам любила рассказывать о своем бывшем богатстве, о том, как лакированная карета, обитая синим стеганым атласом, ждала ее у подъезда, как она спускалась по красному сукну лестницы и как течение пешеходов прерывалось, пока она входила в карету.

– Мальчишки, раскрыв рты, – рассказывала она, – глазели. Мужчины, в шубах с котиковыми воротниками, осматривали меня с ног до головы. Мой муж, старый полковник, спал в карете. На запятках стоял лакей в шляпе с кокардой, и мы неслись в императорский театр.

При слове «императорский» нечто поэтическое просыпалось в Тептелкине. Казалось ему – он видит, как Авереску в золотом мундире едет к Муссолини, как они совещаются о поглощении югославского государства, об образовании взлетающей вновь Римской империи. Муссолини идет на Париж и завоевывает Галлию. Испания и Португалия добровольно присоединяются к Риму. В Риме заседает Академия по отысканию наречия, могущего служить общим языком для вновь созданной империи, и среди академиков – он, Тептелкин. А хозяйка, сидя на краю постели, все трещала, пока не вспоминала, что пора идти в Политпросвет. Она вкладывала широкие ступни в татарские туфли и, колыхаясь, плыла к дверям. Это была вдова капельмейстера Евдокия Ивановна Сладкопевцева.

Тептелкин поднимал свою седеющую, сухую голову и со злобой смотрел ей вслед.

«Никакого дворянского воспитания, – думал он. – Пристала ко мне, точно прыщ, и работать мешает».

Он вставал, застегивал желтый китайский халат, купленный на барахолке, наливал в стакан холодного черного чая, размешивал оловянной ложечкой, доставал с полки томик Парни и начинал сличать его с Пушкиным.

Окно раскрывалось, серебристый вечер рябил, и казалось Тептелкину: высокая, высокая башня, город спит, он, Тептелкин, бодрствует. «Башня – это культура, – размышлял он, – на вершине культуры – стою я».

– Куда это вы все спешите, барышни? – спросил Тептелкин, улыбаясь. – Отчего не заходите на наши собрания? Вот сегодня я сделаю доклад о замечательном поэте, а в среду, через неделю, прочту лекцию об американской цивилизации. Знаете, в Америке сейчас происходят чудеса; потолки похищают звуки, все жуют ароматическую резину, а на заводах и фабриках перед работой орган за всех молится. Приходите, обязательно приходите.

Тептелкин солидно поклонился, поцеловал протянутые ручки, и барышни, стуча каблучками, скрылись в пролете.

Гулял ли Тептелкин по саду над рекой, играл ли в винт за зеленым столом, читал ли книгу, – всегда рядом с ним стоял Филострат. Неизреченной музыкой было полно все существо Филострата, прекрасные юношеские глаза под крылами ресниц смеялись, длинные пальцы, унизанные кольцами, держали табличку и стиль. Часто шел Филострат и как бы беседовал с Тептелкиным.

«Смотри, – казалось Тептелкину, говорил он, – следи, как Феникс умирает и возрождается».

И видел Тептелкин эту странную птицу с лихорадочными женскими ориентальными глазами, стоящую на костре и улыбающуюся.

Пусть читатель не думает, что Тептелкина автор не уважает и над Тептелкиным смеется, напротив, может быть, Тептелкин сам выдумал свою несносную фамилию, чтобы изгнать в нее реальность своего существа, чтобы никто, смеясь над Тептелкиным, не смог бы и дотронуться до Филострата. Как известно, существует раздвоенность сознания, может быть, такой раздвоенностью сознания и страдал Тептелкин, и кто разберет, кто кому пригрелся – Филострат ли Тептелкину или Тептелкин Филострату.

Иногда Тептелкина навещал сон: он сходит с высокой башни своей, прекрасная Венера стоит посредине пруда, шепчется длинная осока, восходящая заря золотит концы ее и голову Венеры. Чирикают воробьи и прыгают по дорожкам. Он видит – Марья Петровна Далматова сидит на скамейке и читает Каллимаха и подымает полные любви очи.

– Средь ужаса и запустения живем мы, – говорит она.

Интермедия

На проспекте 25 Октября благовоспитанные молодые люди, Костя Ротиков и Миша Котиков, прислонившись к чугунным перилам, протянули друг другу зажженные спички.

В прежние времена в более поздний час не менее благородные молодые люди мчали венгерку и мазурку, подыгрывая музыку на губах. Как известно, в прежние времена проспект пустел совершенно после трех часов ночи. Фонари гасли, и ищущие субъекты и играющие задами женщины исчезали в соответствующих заведениях.

Но сейчас около девяти часов. По крайней мере часы на бывшей городской думе, а теперь на третьеразрядном кинематографе, показывают без десяти минут девять. Но молодые люди стояли не против бывшей городской думы, а на мосту под вздыбленным конем и голым солдатом, так, по крайней мере, казалось им.

Глава II. Детство и юность неизвестного поэта

1916 г. – На этом-то проспекте, на западный манер провел неизвестный поэт свою юность. Все в городе ему казалось западным – и дома, и храмы, и сады, и даже бедная девушка Лида казалась ему английской Анной или французской Миньонной.

Худенькая, с небольшим белокурым хохолком на голове, с фиалковыми глазками, она бродила между столиков в кафе под модную тогда музыку и подсаживалась к завсегдатаям нерешительно. Некоторые ее угощали кофе, сваренным вместе со сливками, другие шоколадом с пеной и двумя бисквитами, третьи – просто чаем с лимоном. Люди во фраках с салфеткой под мышкой, проходя, обращались к ней на «ты» и, склонившись, шептали на ухо непристойность.

В этом кафе молодые люди мужеского пола уходили в мужскую уборную не затем, зачем ходят в подобные места. Там, оглянувшись, они вынимали, сыпали на руку, вдыхали и в течение некоторого времени быстро взмахивали головой, затем, слегка побледнев, возвращались в зал. Тогда зало переменялось. Для неизвестного поэта оно превращалось чуть ли не в Авернское озеро, окруженное обрывистыми, поросшими дремучими лесами берегами, и здесь ему как-то явилась тень Аполлония.

1907 г. – Толпы гуляющих двигались неторопливо. В белоснежных, голубых, розовых колясках сидели, лежали, стояли дети. Влюбленные гимназисты провожали влюбленных гимназисток. Продавцы предлагали парниковые, пахнущие дешевыми духами фиалки и качающиеся нарциссы. Буржуа возвращались с утренней прогулки на острова – в ландо, обитых синим или коричневым сукном, в шарабанах, в колясках, запряженных вороной или серой парой. Изредка мелькали кареты, в них виднелись старушечьи носы и подбородки. Они подъезжали, сбегал швейцар и почтительно открывал дверцу. Неизвестный поэт часто ездил в таких экипажах. Сидела мать, женщина задумчивая, бледная, на козлах вырисовывался круп кучера, на коленях у матери лежали цветы или коробка конфет, мальчику было лет семь, любил он балет, любил он лысые головы сидящих впереди и всеобщую натянутость и нарядность. Он любил смотреть, как мама пудрится перед зеркалом, перед тем как ехать в театр, как застегивает обшитое блестками платье, как она открывает зеркальный створчатый шкаф и душил платок. Он, одетый в белый костюм, обутый в белые лайковые сапожки, ждал, когда мама окончит одеваться, расчешет его локоны и поцелует.

1913 г. – Семья сидела за круглым столом, освещенная морозным, красным солнцем. В соседней комнате топила печь, и слышно было, как дрова трещали. За окнами была устроена снежная гора, и видно было, как дворовые дети неслись с высоты на санках.

После завтрака будущий неизвестный поэт пошел с гувернером в банкирскую контору Копылова. Копылов издавал журнал «Старая монета». У него в конторе стояли небольшие дубовые шкафики с выдвижными полочками, обитыми синим бархатом, на бархате лежали стратеры Александра Македонского, татрадрахмы Птолмеев, золотые, серебряные динарии римских императоров, монеты Босфора Киммерийского, монеты с изображениями: Клеопатры, Зенобии, Иисуса, мифологических зверей, героев, храмов, треножников, трирем, пальм; монеты всевозможных оттенков, всевозможных размеров, государств – некогда сиявших, народов – некогда потрясавших мир или завоеваниями, или искусствами, или героическими личностями, или коммерческими талантами, а теперь не существующих. Гувернер сидел на кожаном диване и читал газету, мальчик рассматривал монеты. На улице темнело. Над прилавком горела лампочка под зеленым колпаком. Здесь будущий неизвестный поэт приучался к непостоянству всего существующего, к идее смерти, к перенесению себя в иные страны и народности. Вот, взнесенная шеей, голова Гелиоса, с полуоткрытым, как бы поющим ртом,

заставляющая забыть все. Она наверно будет сопровождать неизвестному поэту в его ночных блужданиях. Вот храм Дианы Эфесской и голова Весты, вот несущаяся Сиракузская колесница, а вот монеты варваров, жалкие подражания, на которых мифологические фигуры становятся орнаментами, вот и средневековое, прямолинейное, фанатическое, где вдруг, от какой-нибудь детали, пахнёт, сквозь иную жизнь, солнцем.

И все новые и новые появляются ящички.

Гувернер прочел всю газету. За окнами горят фонари.

– Пора, – говорит он, – не то мы опоздаем к обеду. Купленные монеты опускаются в отдельные конвертики, конвертики в большой конверт.

Придя домой, мальчик доставал лупу, огромную как круглое окно, садился на дубовый табурет перед столом, раскладывал приобретенные монеты и совершал путешествия во времени, пока не проходил мимо комнаты отец в бухарском халате в столовую и горничная не забежала сказать:

– Кушать подано.

После обеда отец отправлялся в кабинет, обставленный книжными шкафами, соснуть часок-другой на ковровом диване. В шкафах помещались великолепные книги, которые можно было встретить в любом интеллигентном семействе: приложение к «Ниве», страшнейшие романы Крыжановской, возбуждающий бессонницу граф Дракула, бесчисленный Немирович-Данченко, иностранные беллетристы на русском языке. Были и научные книги: «Как устроить половое бессилие», «Что нужно знать ребенку», «Трехсотлетие Дома Романовых».

В девять часов вечера отец облекался в форму, душился и уезжал в клуб.

После отъезда отца в кабинете появлялся будущий неизвестный поэт, садился на диван, на ковре расстилалась карта, на диване разбрасывался Гиббон и всяческая археология. В соседней комнате, в гостиной, мать играла «Молитву деви». В своей комнате младший брат читал Нат-Пинкертон, в комнате неизвестного поэта гувернер надевал сапоги, напевая шансонетку, – он шел поразвлечься после трудового дня; на кухне денщик сажал на колени горничную, та – ржала.

1917 г. – Неизвестному поэту было 16 лет, Лиде 18, когда они встретились. Она тогда лишь изредка появлялась в кафе. Иногда она говорила, что она гимназистка, и вспоминала поездку на лихаче, тишайшую ночь, проносящиеся дома, мелькающие деревья и кабинет ресторана, офицеров, звон бокалов и как она плакала на диване, утирая слезы краем черного передника. Иногда она рассказывала, что была влюблена в студента, белоподкладочника, и как он уступил ее своим товарищам.

Иногда она говорила, что ее обесчестил женатый человек, лицо, уважаемое в городе, с длинной седой бородой, любящее гулять вечером по Летнему саду.

Неизвестный поэт оторвался от чтения, от расставления книг по полкам, от рассматривания монет. Был третий час ночи. Мимо портьер, наглухо опущенных, по черной лестнице он сошел на пустынный двор, ослепительно освещенный огромным висячим фонарем. Удивленный дворник выпустил его из-под ворот и видел, как юноша убегает по широкой улице по направлению к Невскому. Шел дождь мелкий, косой. На ступеньках подъезда, разложив подаренные им ей в прошлую ночь атласные карты, сидела Лида, прислонившись к дверям. Она дремала, полураскрыв рот. Неизвестный поэт сел рядом, посмотрел на ее девичье лицо, на тающий снег вокруг, на часы над головой, достал белое, искрящееся из кармана, отвернулся к стене, особое звучание, похожее на протяжное «о», переходящее в «а», казалось ему, понеслось по улицам. Он видел – дома сузились и огромными тенями пронзили облака. Он опустил глаза, – огромные красные цифры фонаря мигают на панели. Два – как змея, семь – как пальма.

Разложенные карты притягивают его глаза. Фигуры оживают и вступают с ним в неуловимое соотношение. Он связан с картами, как актер с кулисами; он быстро будит Лиду и, по странной иронии начинает играть с ней в дурачка; пятерки карт дрожат в их руках, пока в глазах не темнеет, ветер мешает, они отворачиваются к стене; дождь переходит в порхающий мягкий тающий снег. Они защищены навесом.

Карты ему кажутся ужасом и пустотой. Скоро начнет просыпаться город.

– В чайную, в чайную скорей! – говорит Лида. – Я совсем застыла за эту проклятую ночь! Неужели ты не мог прийти раньше и увезти меня в гостиницу! Я бы проспала как убитая! Я ведь третью ночь на улице! Нет ли у тебя денег, может быть, мы найдем пустую комнату.

– Что ты, Лида! в пять часов все гостиницы переполнены, нас никуда не впустят!

– Тогда идем скорей, скорей в чайную. Меня мучит тоска. Боже мой, скорей, скорей идем в чайную!

Он посмотрел на ее совершенно белое лицо, на расширенные зрачки; сколько внутренних лет сидит он здесь, что означает фонарь, что знаменует собой снег и что значит он, появившийся на проспекте?

– Цветы любви, цветы дурмана... —

неожиданно запела Лида, отступив от подъезда. Проходил какой-то забулдыга; он посмотрел на них иронически. Неизвестный поэт и Лида, сквозь завесу колющего снега, пошли. Карты лежали забытые на подъезде.

Ночная чайная гремела. Проститутки, в платках, в ситцевых платьях, смотрели нагло и вызывающе. На бледных лицах непойманных воров мигали глаза и бегали по углам, на круглых столах стоял чай невыносимого, как заря, цвета. Неизвестный поэт и Лида появились в дверях. Ночь отошла.

Проспект 25 Октября носил в те времена иное название. Украшенный круглыми ослепительными электрическими фонарями, в то время как окружающие его улицы и переулки мерцали от газового освещения, простирал он между домами дворцы, церкви и казенные здания. Сквозь стекла окон и дверей можно было видеть белоснежные лестницы с коврами нежнейшей окраски, портьеры, играющие шелками, столики из всевозможных материалов, кресла и диваны всевозможных форм. Иногда, в длинных залах, под потолками, с несущимися по воздуху амурами, молодые люди просиживали ночи напролет, глядя помертвевшими глазами в пространство.

Сергей К. сидел в своей комнате, разделенной надвое шкафами с французскими книгами. В столовой, сохранившей следы восемнадцатого века, было тихо – семья, вплоть до бабушки, уже отпила вечерний чай и разбрелась по своим комнатам. Бабушка, должно быть, в это время снимала свою наколку перед зеркалом, или, может быть, мазала руки на ночь какой-нибудь пастой, или освобождала себя от корсета с помощью своей горничной; мать, должно быть, писала своей подруге в Париж, или, может быть, перечитывала свой девичий альбом, или распускала волосы перед зеркальным шкафом, в то время как ее горничная опускала шторы. Отец в это время подъезжал к яхт-клубу на Морской, чтоб провести ночь за зеленым столом, или, может быть, входил в ресторан Кюба, чтоб встретиться там с одной из полноточных див.

Часы в столовой пробили одиннадцать. Раздался звонок, вошел неизвестный поэт, и друзья отправились.

Луна и звезды прояснились над городом.

Поскрипывал снег, гудели белые от света, наполненные зем-гусарами, трамваи, кинематографы предлагали зрелища, личности под воротами – порнографические книжки и карточки, трусой на извозчиках ехали парочки, таксомоторы двигались, готовясь нестись.

На панелях кучками стояли, ходили, подтанцовывали женщины с раскрашенными лицами.

Неизвестный поэт остановился.

– Вспомни вчерашнюю ночь, – повернул он свое, с нависающим лбом, с атрофированной нижней частью, лицо к Сергею К., – когда Нева превратилась в Тибр, по садам Нерона, по Эсквилинскому кладбищу мы блуждали, окруженные мутными глазами Приапа. Я видел новых христиан, кто будут они? Я видел дьяконов, раздатчиков хлебов, я видел неясные толпы, разбивающие кумиры. Как ты думаешь, что это значит, что это значит?

Неизвестный поэт смотрел вдаль.

На небе перед ним постепенно выступал страшный, заколоченный, пустынный, поросший травой город – друзья шли по освещенной, жужжащей, стрекочущей, напевающей, покрывающей, позванивающей, поблескивающей, поигрывающей улице, среди ничего не подозревавшей толпы.

1918–1920 гг. – На снежной горе, на Невском, то скрываемый выюгой, то вновь появляющийся, стоит неизвестный поэт: за ним – пустота. Все давно уехали. Но он не имеет права, он не может покинуть город. Пусть бегут все, пусть смерть, но он здесь останется и высокий храм Аполлона сохранит. И видит он – вокруг него образуется воздушный снежный храм и он стоит над расщелиной.

Неизвестный поэт и Сергей К. шли по коврам фойе на цыпочках. С некоторых пор они чувствовали боль в затылках.

На постах стояли милиционерки, театрально отставив ножку, лушили семечки и переругивались с танцующими личностями у фонарей.

Распускалась темная ночь позднего лета. Уже не луна и одна звезда, а луна и тысячи звезд, голубоватых, красноватых, желтоватых, освещали город.

По этим-то торцам и панелям пробегала Лида, уже босая и подурневшая.

«Черт возьми, – думала она, – вот жизнь и кончается. Где бы на чулки и туфельки взять? Так ведь и на понюшку не заработаешь».

Она бросилась в чайную.

– Пошла вон, – толкнул ее в грудь человек с салфеткой, – явилась шляться, из-за вас еще заведение закроют.

Неизвестный поэт с другом появились из-под ворот.

– Пойдем, Сережа, в Летний сад, – сказал он, – посидим на скамеечке.

– Ты! – вскрикнула Лида. Но через секунду отступила. – Извините, я помешала вам.

Приближался патруль.

Лида бросилась в ворота ближайшего дома.

Молодые люди скрылись на Невском.

Глава III. Междусловие

Я сижу у моего друга, известного художника. Он спит за три комнаты отсюда. Комната, где я нахожусь, выходит ротондой на улицу. Сейчас три часа ночи. Электрические лампочки, прикрепленные к трамвайному столбу, горят внизу. Из окон крыши домов не видны, они сливаются с небом, а за домами, я чувствую, течет Нева, – голубая.

Ночь темна. Сейчас третий час ночи. Любимый час моих героев. Час расцвета неизвестного поэта, его способностей и видений. Я снова вижу: сквозь лютый мороз, по снежным ухабам улиц, под ужасающий ветер, от которого омертвевает лицо, он ищет опьянения, не как наслаждения, а как средства познания, как средства ввергнуть себя в то священное безумие (*amabilis insania*), в котором раскрывается мир, доступный только прорицателям (*vates*).

Окна закрыты. Дома опустошены. Все дальше от него отступает священное безумие. Нет больше пальм, платанов, кипарисов. Нет больше портиков, нет водометов. Нет больше великой свободы духа. Нет больше бесед под открытым, черным или золотоцветным небом. Я вижу – среди разрушающихся домов он прощается со своими друзьями. Вот сидит на камне, бегая глазами, как сумасшедший, один из них. Вот другой неподвижно лежит на земле. Он чувствует, что он умер. Вот третий взбирается по разрушенной лестнице в сквозном доме, чтоб с высоты, в последний раз, посмотреть на город. Вот неизвестный поэт стоит, прислонившись к колонне. Разбитая капитель с листьями аканта доходит ему до колен; он слышит, как в соседнем доме кричит петух. Он вспоминает кошек, уходящих умирать в такие же запущенные здания. Тихо появляется одна, вытягивая шею, волочит задние ноги. За ней другая, мокрая и дрожащая, не удерживается, падает с лестницы в черный провал. Третья, потухшими глазами тщетно поискав вокруг, силится свернуться в клубок и не успевает.

Сейчас, должно быть, три часа. Темно, совсем темно. Внизу женщина играет на рояле. Я уверен, что это женщина. Я думаю, ей кажется, что нежный друг лежит у ее ног. Я думаю, она распустила волосы. Я раскрываю диалог Барталомео Таеджо «L'Humore» и читаю рассуждения в похвалу и в хулу вину. О дружбе, существующей между вином и поэзией. Я возвращаюсь к первой странице, где описывается день жатвы винограда в прелестнейшем селении Робекко. Девушки у давлен воспевают драгоценность лозы, на дорогах крестьяне, повозки, лохани с виноградом или вином. Другие поселяне идут от дороги с корзинами, котомками освободить кусты от плодов. В опьяняющем воздухе движутся толпы галерников, входя пением и игрою на гитаре в сердца, полные любви, поселянок.

Я вспоминаю страницу из романа Лонга – «была уже осень в своей силе, и время жатв наступило. Каждый в полях...»

И в окне мелькнула тень Афродиты.

Я подхожу к окну. Как тихо все! Какой желтый свет бросают вниз на часть улицы маленькие лампочки, прикрепленные к перекладинам на трамвайных столбах! И как грустно идет прохожий, подняв плечи, по панели! Куда идет он? Может быть, с ним были знакомы мои герои. Может быть, это один из моих героев, случайноуцелевший.

Небо посветлело. Крыши домов видны, с трубами и громоотводами. Цокают копыта. За мной на стене висит карта, сохранившаяся от времен всеевропейской войны, должно быть, лет двенадцать, тринадцать тому назад ее утыкала русскими, французскими, итальянскими, английскими флажками вся семья. Гордилась успехами армии, горевала при отступлениях.

Глава IV. Тептелкин и неизвестный поэт

После того как барышни, стуча каблучками, скрылись в пролете, Тептелкин постоял, посмотрел на то место, где только что они протягивали ручки, и быстро пошел, спотыкаясь. По-видимому, он задумался.

– Как вы думаете... – по рассеянности остановился Тептелкин.

Книжник улыбнулся.

– Всегда вы шутите, вместо того чтобы поздороваться по-человечески. Садитесь, потолкуем.

Но Тептелкин стал рассматривать книги, развешанные на решетке сада при Мариинской больнице.

– Если бы у вас были деньги, вы, пожалуй, всю мою библиотеку купили бы. – И уличный торговец стал показывать Тептелкину книги.

Действительно, книги были замечательные: почти лубочный, недавний французский перевод Марка Аврелия был переплетен в роскошный пергамент, тисненый золотом, «Зодиак жизни» – карманная книжечка с синим обрезаем, с прекрасным орнаментом на заглавном листе уносила в позднее Возрождение.

– Нет ли у вас «Утешения философии» Боэция? – спросил Тептелкин. – Я бы взял у вас в долг.

Книжники охотно давали книги в долг Тептелкину, с которым можно было посидеть и поговорить.

Боэция не оказалось.

«Но как же совместить это с концепцией неизвестного поэта, что большевизм огромен, что создано положение, подобное первым векам христианства».

И всю дорогу старался Тептелкин выйти из этого затруднения.

«Всегда новая религия появляется на периферии культурного мира, – размышлял он. – Христианство появилось на периферии греко-римского мира в Иудее нищей, печальной, узкой и косной духом. Ислам у кочевников, а не в цветущем Йемене, где бьют фонтаны, где ароматные плоды колышутся и наполняют воздух дурманом, где женщины, при пробуждении, сладострастно потягиваются и лениво зевают. Фу, какие нечистые мысли, – отвлекся Тептелкин, – точно я о женщинах мечтаю».

Он задумался.

«Даже во сне, иногда, появится женская грудь и вздохнет рядом. Черные глаза, кажется, смотрят в душу, обнимешь пустоту, замрешь и ждешь чего-то. – И Тептелкин увидел свою комнату и розу, подаренную ему в прошлую среду Марьей Петровной Далматовой. – Страшно жить ей, должно быть, – подумал он о Марье Петровне, – страшно. Мы люди культурные, мы все объясним и поймем. Да, да, сначала объясним, а потом поймем – слова за нас думают. Начнешь человеку объяснять, прислушаешься к своим словам – и тебе самому многое станет ясно».

И он вспомнил о неизвестном поэте. Любит он здорово неизвестного поэта! Напишет неизвестный поэт, не думая, две строчки, а выйдет умно, эх, черт возьми, как умно. И будет в этих словах гибель, и великая страсть, и жалоба на заходящее навек солнце. За неизвестного поэта слова сами думают. О, как умел обращаться со стихами неизвестного поэта Тептелкин! Каким многообилием смысла раскрывались для него метафоры неизвестного поэта! Казалось ему, разрушается государство, а чистый юноша поет о свободе духа, поет скрытно, как бы сты-

дять, а все слушают и хвалят за непонятные метафоры, за сияние, возникающее от сопоставления слов.

Ты говорила: нам не вернуться в Элладу,
Наш потонет корабль, ветер следы заметет...

Утром того же дня казалось неизвестному поэту, что он проснулся в доме терпимости: одетые гусарами, турчанками, польками, женщины сидят на полу и играют в карты; тапер, взмахивая шевелюрой, ударяет по клавишам. Ходят драгуны, позванивая шпорами. Улан поручик сидит на диване и пишет своей сестре письмо в стихах.

«Я – это мой отец, – подумал неизвестный поэт и взглянул на висевшую на стене картину, – грудастая женщина в пышных юбках, оклеенных звездами, лежала на диване, закатив глаза. – Я, – раскинул руки неизвестный поэт, – это мой отец в девяностых годах, в каком-то провинциальном городе, потому что в Петербурге совсем другие дома терпимости: львы, мраморные лестницы, швейцары с галунами, лакеи в атласных панталонах, оркестр человек в пятнадцать, прекрасные дамы в бальных туалетах».

– Скри-кри-ра-ра-ру-ру, – играл оркестр.

Казалось неизвестному поэту, что он – его дед, огромный, представительный, сидит в ложе; на барьере лежит шелковая афиша, обшитая мелкими кружевами; на сцене – Людовик XIII что-то говорит Ришелье. Театр деревянный, а вокруг театра деревянные домики и снега, снега... «Енисейск, – подумал неизвестный поэт. – Я – мой дед, городской голова Енисейска».

В сумраке он почувствовал приближение тройки. Будто он стоит на крыльце и слышит бубенчики, а потом удары подков, а потом и ржание, а потом голоса девицы: «Приготовлен ли зал, где лакеи, отчего нет огней?»

И видит, лакеи из дома церемонно выходят. Раздается музыка бальная, дамы с шлейфами поворачиваются – а за окнами ночь снежная, ночь снежная, безмятежная, и стоит он и смотрит в окно – внизу аллея статуй, а вдали, в городе, снежная выюга поет:

Где вы, оченьки, где вы, светлые.
В переулках ли, темных улочках
Разбежались, да повернулись,
Да кровавой волной поперхнулись.

Негодяй на крыльце
Точно яблонь стоит,
Вся цветущая,
Не погиб он с тобой
В ночь звездную.
Ты кричала, рвалась
Бесталанная.
Один – волосы рвал,
Другой – нож повернул —
За проклятый, ужасный сифилис.

– Кой черт, – вскричал неизвестный поэт, – не жена она мне была, не любовница, и не знаю я, был ли у ней сифилис.

Злой поднялся с белоснежной постели и пошел в Эрмитаж статуи рассматривать.

В нижнем помещении чувствует, как он сам склоняется над собой и поет:

А друзья его все гниют давно, Не на кладбищах, в тихих гробиках, Один в доме шатается,
Между стен сквозных колыхается, Другой в реченьке купается, Под мостами плывет, разлага-
ется, Третий в комнате за решеткою С сумасшедшими переругивается.

Проснулся неизвестный поэт. Было 1-ое мая.

«Приятно, – подумал он, – четыре года как я порвал с ночью, с освещенным и потухшим
городом, с ночными мерцающими толпами, с предвещаниями».

Глава V. Философия Асфоделиева

– Странный Тептелкин, – болтали барышни, идя по Кирочной улице. – Девственник, наверно. Женить его надо, а то пропадет без толку.

– Хочешь, я его за тебя выдам замуж? – подумав, засмеялась Марья Петровна Далматова. – Будет тебе он ножки целовать, работать на тебя как вол, а ты – на кровати, вечно без белья лежать и романы перелистывать.

– Я хочу любви, чтобы всюду цветы забрезжили, чтоб мир для меня прояснился. А то черт знает что вокруг, – вздохнула Наташа.

– Ничего, кутнем сегодня, почитают нам стишки, угостят вином, целовать будут, – рассмеялась Муся.

– Но ведь они прохвосты, – прервала ее смех Наташа.

– Ничего, – прыснула Муся. – Если кто станет лезть по-настоящему, я булавку воткну куда попадется, живо отстанет. – Она вытащила и серьезно показала сломанную шляпную булавку.

– Только для тебя иду, – заявила Наташа, – уверена ли ты, что это не опасно?

– Ерунда, если станет приставать, дай ниже живота кулаком – отойдет как миленький.

Они вошли в подъезд. Дверь им открыл Свечин.

– Ну что, девушки, пришли, – улыбнулся он и закурил. – Весело проведем вечерок.

За ним появился Асфоделиев, выбритый, со смоченными одеколоном руками, в визитке, в сияющем пенсне; он важно и неторопливо поздоровался, спросил, гуляли ли они сегодня по Летнему саду, не написали ли новых стихов.

Все вчетвером вошли в комнату.

Мумиеобразный человек поднялся, взмахнул длинными волосами, поклонился издали.

– Вот наш друг Кокоша Шляпкин, – представил его Свечин, – поэт, музыкант, художник, кругосветный путешественник. Сейчас из глины революционные сцены лепит – прохвост ужаснейший.

Субъект улыбнулся.

За Мусей стал ухаживать Асфоделиев, за Наташей Свечин. Кокоша подсаживался то к одним, то к другим и, по-видимому, скучал.

После ужина универсальный артист Кокоша сел за пианино, начал импровизировать. В соседней комнате Асфоделиев, выбрав местечко потемнее, затащил Мусю на диван. Муся, в истоме после выпитого вина, позволяла ему проводить губами по руке, целовать затылок, но руки его отстраняла, подбородок отталкивала.

Тогда Асфоделиев попытался на нее воздействовать философией.

– На кой черт вам девственность, – шептал он, прижимая ее к себе и вращая жирным продолжением своей спины, – или вас соблазняют мещанские добродетели? нет, нет, я предлагаю вам сказочную жизнь богемы, истинно аристократическую жизнь.

И толстяк уронил пенсне.

– Девушка – желторотый воробей, – продолжал он свои манипуляции, – от нее пахнет булкой; женщина – это цветок, это благоухание. Семья – это мещанство, это штопанье чулок, это кухня. – Рука его устремилась, но была остановлена. – Мы, поэты, – переваливался Асфоделиев на другой бок, – духовная аристократия, поэтессе нужны переживания. Как вы хотите писать стихи, не зная мужчины?

В это время, сквозь комнату, Свечин протащил хихикающую Наташу. Она была пьяна совершенно, голова ее свесилась набок, она прикрывала рот рукой, ее тошнило. Он провел

ее в уборную и стал прохаживаться за дверью возбужденно. Отвел ее в последнюю комнату, опустил на постель.

Наташа уткнулась в подушку и заснула. Свечин стал раздеваться, насвистывая. Он снял с себя рубашку, стал медленно расшнуровывать ботинки.

– Пусть она уснет покрепче.

Снял ботинки, поставил их аккуратно у кровати.

Зажал ей рот рукой, она силилась сбросить его с себя, но не могла. Сквозь руку она плакала и видела свет лампы.

Он сел на краю постели отдышаться. Наташа подняла свою голову, потрогала грудь, посмотрела на его спину, откинулась и заплакала. Он повернулся, радостно похлопал ее и сказал:

– Не все ли равно – рано или поздно.

– Как твои дела? – входя в гостиную, спросил он Асфоделиева.

Тот сидел нахмурившись. Муся засмеялась.

Он отвел Асфоделиева к окну.

– Ты дурак, – сказал он. – А где прохвост Кокоша?

– Ушел давно, надоело ему ждать.

– Дурак твой Кокоша, сейчас бы в спальню пошел, пока девушка не очухалась. Говорил я ему, чтобы подождал.

– Я пойду туда, – сказал Асфоделиев, улыбнулся полным лицом, поправил пенсне и отправился.

Свечин подошел к Мусе.

– Где Наташа? – спросила она.

Но Свечин удержал ее за руки.

– Она сейчас придет.

Муся поняла и стала зла на подругу. «Дура», – подумала она и села.

Свечин сел и начал обхаживать ее.

– Где Наташа? – снова повторила она. Встала, чтобы идти ее искать.

Из дверей вышел, улыбаясь, Асфоделиев.

– Ваша Наташа пьяна как стелька, она сейчас придет.

За окнами вставало солнце. Подруги, не попрощавшись, вышли.

В это утро Ковалев сидел перед окном – вот Пьеро несет Коломбину, вот старый муж лежит при лампе, а молодая жена стоит – ищет блох. Вот девушка обнаженная лежит на операционном столе; над ней в задумчивости склонился седой доктор.

Сколько воспоминаний... Сколько воспоминаний.

Открытка с Пьеро и Коломбиной – его любимая открытка. Открытки с ловлей блох и с операционным столом – любимые открытки генерала Голубца.

А когда Ковалев в тачке возил щебень на барку, прошла возвращавшаяся с пирушки Наташа, запрятав носик в воротник, не узнала Ковалева, а Ковалев был страшно рад, что она его не узнала, он ведь не рабочий, а так, временно, до приискания настоящей работы, щебень грузит. Скрылась Наташа; закурил Ковалев, сел на тачку и задумался; достал краюху ситного с изюмом и съел с удовольствием, вспомнил Пасху, бой колоколов в воздухе и романсы.

«Ничего, вырвусь, – решил, – снова стану человеком. Вот только в профсоюз трудно пройти».

И стал думать о профсоюзе, как прежде о Георгиевском крестике.

– Надо во что бы то ни стало утвердиться на строительных работах.

Глава VI. Генерал Голубец и корнет Ковалев

Генерал Голубец, отец Наташи, рассматривая партитуру, курил дешевую сигару, когда Наташа, возвращаясь с пирушки, прошла в свою комнату. Ее отцу захотелось поговорить в это весеннее утро. Он встал, пошел следом за Наташей и остановился в дверях.

– Комендант сидел у окна, – стал рассказывать генерал Голубец анекдот, – и увидел, что по улице идет поручик Н-ского полка без пашки. «Иван!» – зовет комендант денщика и указывает на офицера. Через минуту офицер появляется в комнате, при пашке. Комендант видит пашку и смущается. «Простите, поручик, – говорит он, – мне показалось незнакомым ваше лицо. Давно ли вы у нас в городе?» И любезно поговорив, отпускает офицера. Поручик вышел. Комендант снова сел к окну. Через минуту видит – идет тот же поручик без пашки! «Иван! – кричит комендант. – Позвать его!» Через минуту входит офицер при пашке. Комендант конфузится еще более и просит офицера передать поклон от него командиру полка. Офицер вышел. Комендант снова сел к окну. Через минуту видит, опять идет тот же офицер без пашки! «Иван! – кричит комендант. – Вернуть его!» Через минуту входит тот же поручик при пашке. Совсем сконфуженный комендант приглашает поручика сыграть вечером в винт. Молодой офицер вышел. Комендант сел к окну. Через минуту видит, идет тот же поручик без пашки! «Лиза, Елена Александровна! – зовет комендант жену и дочь и показывает в окно на офицера. – При пашке он?» – «Без пашки!» – в один голос отвечают жена и дочь. «А я говорю, пашка есть! пашка есть!» – кричит комендант и сердится.

Генерал Голубец выдержал паузу.

– А знаешь, где поручик брал пашку? – спросил он у Наташи. – Это была пашка самого коменданта!

Бывший генерал Голубец отходит от двери в столовую, садится за партитуру; рядом самовар и жена. Он тапер в кинематографе, она шьет на рынок маркизетовые платья. А позади них, в комнате, единственная дочь их, худенькое, хихикающее дитя, занимающееся в университете.

В 191... году, провожая Михаила Ковалева на войну, Наташа думала: герой, воин.

И, вернувшись домой, плакала: убьют его, наверно убьют. Ей было тогда пятнадцать лет, ее тогда нельзя было назвать хихикающим существом. Правда, она тогда уже впопад и невпопад улыбалась, но это была улыбка застенчивых людей.

Корнет Павлоградского гусарского полка Михаил Ковалев, ее жених, тогда ехал на войну как на парад. Летели поля, леса. Он стоял у окна, видел Георгиевский крест и лицо своей невесты. Но через неделю после прибытия Михаила в полк солдаты предложили ему должность кашевара. «Вот они, подвиги», – подумал он. Затем он год скрывался в лесах под Петербургом, затем он попал на красный фронт в качестве помощника инспектора кавалерии. Он ругал красных где только мог, но служил им честно. Потом он был демобилизован и очутился в Петербурге. Но Наташа к нему охладела. Годы голода ее переродили; она стала нервным существом. То она училась в какой-то театральной студии, где ее хватили за все места, то в университете прохаживалась в «Булонском лесу» (главный коридор), куря папиросу.

Михаил Ковалев редко после революции виделся с Наташей. Полное безденежье, невозможность найти службу – у него не было никакой специальности – глубоко унижали его и приводили в отчаяние. Но все же он думал, что он когда-нибудь найдет место и тогда женится на Наташе.

Ежегодно, в первый день Пасхи, он натягивал краповые чакчиры с золотыми галунами, сапоги с гусарскими розетками, вытаскивал из глубины шкафа френч. Из-под половицы доставал золотые погоны с вензелями, одевался быстро, быстро, клал шпоры в карман и, в прожженной на войне с белыми шинели, – летел к Наташе.

Это повторялось из года в год. Он взбегал по лестнице, бывшая ее превосходительство сидела в комнате и читала книгу. С

Наташей он христосовался, съедал ломтик кулича и блюдечко сливочной пасхи.

Затем Наташа садилась за зыбкое пианино и что-то безголосо пела. Открывала жалко рот и смотрела на Михаила Ковалева. Ей было грустно, она его больше не любила. Она считала его пошлым.

Иногда Михаил Ковалев вставал, просил Наташу сыграть «Ах, увяли давно хризантемы». Становился рядом, тоже раскрывал рот и фальшивил. Иногда пел «Это девушки все обожают» или «Красотки, красотки, красотки кабаре, любовь ведь для вас наслажденье».

«Ах, как хорошо провел я этот вечер», – думал он, возвращаясь ночью домой по переименованным и вновь освещенным улицам, среди буденовок, кожаных курток, под скачущими вывесками.

Глава VII. Книга Тептелкина

Для создания мысли научная поэзия необходима, – думал Тептелкин, лежа в постели, на следующий день после чтения, – вот и никому не известный поэт посредством сопоставления слов вызывает новый мир для нас; мы его разберем, разложим, переведем на язык прозы, лишим образности, и следующее поколение, уже усвоившее плоды наших трудов, не увидит в его стихах пышного цветения образности нового мира. Все будет им казаться обыкновенным в его стихах, жалким; а сейчас только немногим доступны они.

Пройдут годы, вся эпоха отойдет, все вокруг изменится, и над неизвестным поэтом будут смеяться, называть варваром, сумасшедшим, идиотом, пытавшимся испортить прекрасный язык. Ученики, пишущие скверные стишки ученицам, конторщики, между составлением бумаг объясняющиеся в любви машинисткам, директора трестов и представители месткомов будут говорить:

– Экое было вырождение и до чего праздные люди не додумаются! Стихи должны передавать мысль, идти по пятам науки. Радио изобретен – пиши о радио, беспроводный телеграф изобретен – прославляй культуру.

Но пока хоть и недолгая слава, – Тептелкин спустил ноги и сел на постели, – но слава уже ждет неизвестного поэта. Барышни уже начали наклеивать фотографические карточки на его книжки, пожимают ему руку научные сотрудники, студенты вешают его портрет над скучными книжками. И если он сейчас умрет, то за его гробом пойдет не менее сорока человек и будут говорить о борьбе против века и изобразят хитроумным Одиссеем, оставшимся на острове Цирцеи (искусство), бежавшим от моря (социология)».

Взглянул Тептелкин в окно, не идет ли к нему неизвестный поэт, и увидел, что идет, палочкой постукивает, шляпой помахивает, новую рукопись несет.

«Вот сейчас попирую в стране неизвестной», – подумал Тептелкин и побежал дверь отпирать.

Поцеловались. Ругнули современность. Духовно плюнули на проходивших пионеров.

– Экое поколение растет, без всякого гуманизма, будущие истинные представители средневековья, фанатики, варвары, не просвещенные светом гуманитарных наук.

– Да пакость, гадость вокруг – одичание, – склонился Тептелкин.

Сели.

– И всегда пакость, гадость была вокруг, сволочное топтание, – задумавшись, продолжал Тептелкин. – Воображаю, как белогвардейцы пакостят консульские здания за границей: перед тем, как туда вселяется какое-нибудь полпредство и обои срывают, и в потолок плюют, и паркет выламывают. Не сядут перед камином посидеть в последний раз, погрустить, посмотреть на стены, материей обтянутые, не походят по комнатам, не выйдут в сад, если таковой при доме имеется.

– Не стоит философствовать, – уклонился неизвестный поэт, – мы давно – я искусственно, вы литературно – пережили гибель, и никакая гибель нас не удивит. Интеллигентный человек духовно живет не в одной стране, а во многих, не в одной эпохе, а во многих и может избрать любую гибель, он не грустит, а ему просто скучно, когда его гибель застает дома, он только промычит: еще раз с тобой встретился, – и ему станет смешно.

Тептелкину стало грустно, очень грустно. Он подошел к окну.

«Какие славные, загорелые дети эти пионеры, – подумал он и улыбнулся. Ему почему-то стало радостно и свежо, как будто в комнату ворвалась струя воздуха, освещенная солнцем, – вот снова молодость мира», – подумал он.

В это время в комнату вошел Костя Ротиков.

– Удивительные стихи пишете вы, – обратился он к неизвестному поэту, – истинное барокко.

У Кости Ротикова были особые движения, весь он двигался с элегантноcтью. Сегодня он зашел к Тептелкину, чтоб увезти неизвестного поэта и поговорить с ним о безвкусице: он собирал безвкусовые и порнографические вещи как таковые; часто они, Костя Ротиков и неизвестный поэт, ходили по рынкам и выбирали пепельницы; на одной стороне пепельницы все прилично, а на другой все неприлично; на одной стороне идет дама и лицо кавалера за ней улыбается, а на другой...

Костя Ротиков покупал не только порнографические открытки, но и открытки приличные, но отвратительные. Усастый, румяный кавалер обедает с дамой в ресторане и жмет ей ножку под столом своим сапогом. Девица в прическе блином играет на арфе. Голая нимфа с кружкой пива бежит, а за ней охотится человек в тирольском костюме.

Когда они ушли, Тептелкин вздохнул свободнее. Осмотрел свою комнату, и все в ней ему понравилось. Понравилась ему и пепельница с цветочками (она существовала для друзей – Тептелкин не курил), и ваза для цветочков с аравитяжкой, облокотившейся на кувшин, и фотографические карточки – семейные сцены детства: вот шестилетний Тептелкин бежит с сачком за бабочкой, вот восьмилетний Тептелкин обедает, вот десятилетний Тептелкин в латах царя сидит под елкой; вот карточки матери, братьев, сестер, вот друзей, наконец, карточка Мечты.

Посмотрел Тептелкин на летнее кресло-качалку и нашел, что оно не менее удобно, чем вольтеровское кресло, решил продолжать основной труд своей жизни, открыл сундук, сундук был всегда покрыт зеленой плюшевой скатертью и изображал – неизвестно что изображал. Достал тетрадь.

На первой странице было выведено: «Иерархия смыслов. Введение в изучение поэтических произведений». На второй странице в нижнем углу (Тептелкин любил оригинальность) помещалось посвящение «Моей Единственной» (Единственной – с большой буквы) и фотографическая карточка Мечты. На третьей странице римская цифра I, на четвертой посредине выступало одно слово: «предисловие», на пятой...

Труд был начат солидно. Дальше под основным текстом шли примечания на французском языке из виднейших современных лингвистов, без перевода на русский язык (труд был явно рассчитан на настоящих ученых, а не на глупых студентов). Основной текст, казалось, тоже был написан на иностранном языке и только согласован русскими окончаниями. Тут намекалось на возможность дать новые определения понятию романтического и понятию классического, тут говорилось о поэтических способах окрашивать настоящее время в прошедшее и будущее и разрушалось нелепое представление, что смыслы гнездятся в слове, и давалось определение эстетического как фантазма, как гармонизации природы и истории.

«И если б истинный художник, – думал Тептелкин, – заглянул в эту книгу, он не смог бы оторваться от нее; на него подействовал бы завораживающий пафос этих страниц: художественное произведение всегда лично, принципиально лично, нельзя видеть художественное произведение безлично, дело не в имени, а в том, что личность в произведении отражается».

* * *

«Искусство есть восхищенность, есть объективный фазис бытия. В эстетическом нет ни природы, ни истории, это особая сфера: и не логическая, и не этическая, и не сумма их». Сколько бы ни читал художник, неотступно звучал бы в его ушах лейтмотив книги: искусство есть бытие восхищенное, фантазия есть объективный фазис бытия. И он бы простил Тептелкину и нелепый язык, и французские примечания, и убранство комнаты, и фотографическую карточку Мечты в шляпке, с зонтиком в руках, отъезжающей на извозчике.

Интермедия

Уже два часа прохаживается по рынку Костя Ротиков в белых брюках, в черном пиджаке и фетровой шляпе. Высокий, коренастый, склоняется над барахлом, брезгливо раздвигает палочкой, ищет порнографию.

– Чего вам? – спрашивают торговки старым железом и сосут край стакана с горячим чаем. – Чего вы все роетесь, все разбрасываете?

Краснеет Костя Ротиков и отходит. Незнакомый поэт по другую сторону стоит перед рыночным антикваром, рассматривает старую, косматую, похожую на ведьму Венеру; одной рукой она ведет большеголового амура, в другой держит балалайку. У Венеры чресла опоясаны монгольской тканью с зигзагами, груди у нее морщинистые, отвислые, а по бокам головы знаки ее (+).

В это время к нему подходит Свечин.

– Знаешь, здесь на рынке Кокоша Шляпкин торгует. Выставил, подлец, красноармейца, танцующего на груди офицера, нарисовал портретики Ильича, вставил в медальоны и комсомолкам в платочках предлагает. А не знаешь ли ты вузовки какой-нибудь? Люблю девушек откупоривать. Вчера, пока ты шествиями наслаждался, – знаю, знаю, сидел где-нибудь на балконе и поплевывал вниз, – я Наташу...

Бывший артиллерийский офицер сделал соответствующий жест.

Неизвестный поэт почувствовал беспокойство. Он помнил ее еще маленькой девочкой с косичками, в белом платье, танцевавшей в Павловске на детских балах.

– А, вот вы где, друзья мои, – протянул им руки Тептелкин, – должно быть, о литературе говорите, не буду мешать вам, не буду.

Он откланялся и пошел.

Костя Ротиков, наконец, отыскал соответствующую спичечницу. Свечин отправился, заглядывая под шляпки.

Вдоль стены стояли бывшие дамы, предлагая: одна – чайную ложечку с монограммой, другая – порыжевшее, никуда не годное боа, третья – две рюмочки, переливавшие семью цветами, четвертая – тряпичную куколку собственного изделия, пятая – корсет девятисотых годов. Та седая старушка – свои волосы, выпавшие еще в ранней юности и собранные в косичку, эта, сравнительно молодая, – сапоги, довольно поношенные, своего умершего мужа.

Глава VIII. Неизвестный поэт и Тептелкин ночью у окна

– Вы совершаете великую подлость, – сказал мне однажды неизвестный поэт. – Вы разрушаете труд моей жизни. Всю жизнь я старался в моих стихах показать трагедию, показать, что мы были светлые; вы же стремитесь всячески очернить нас перед потомством.

Я посмотрел на него.

– Если вы думаете, что мы погибли, то вы жестоко ошибаетесь, – продолжал неизвестный поэт, играя глазами, – мы особое, повторяющееся периодически состояние и погибнуть не можем. Мы неизбежны.

Он сел на скамейку. Я сел с ним рядом.

– Вы – профессиональный литератор, нет ничего хуже профессионального литератора, – отодвинулся он от меня.

– Сумасшедший, – пробормотал я. Он повернул голову.

– Иногда сознания у современников не совпадают, – это не дает вам права считать меня сумасшедшим.

Я устыдился. Может быть, правда, он не сумасшедший. Мы помолчали.

Он настороженно стал слушать шорохи листьев.

Мимо нас проходили комсомолы со своими подругами.

«Нет нет, все же он сумасшедший!»

– Я часто отсутствую, – сказал неизвестный поэт, как бы отгадывая мою мысль, – но это не что иное, как растворение в природе.

Он встал и пожал мне руку.

– Мне искренно жаль, что вы живете в том мире, который изображаете.

К нему шел Тептелкин.

Они серьезно и как вежливые люди поздоровались. Они не хлопали друг друга по плечу.

Прошли по аллее. Я прошел мимо мечети, сел в трамвай. «Ты сумасшедший, все же сумасшедший», – подумал я.

Я вошел в дом, очинил карандаш.

– Нет, – сказал я, – надо выяснить, что сейчас они делают. Они, должно быть, опять заняты скверным и нехорошим делом.

Я покрутил усы, вышел, положил ключ в карман, посмотрел, при мне ли карандаш и бумага. Ночь была белая.

Колонны выступали то парами, то тройками, то четверками. Ко мне пристало существо в одежде сестры милосердия.

– Я – Тамара, – сказала она.

– А где твоё одеяло из белого атласа? – спросил я, – одеяло из дорогой материи стоби, из индийского коленкора, из гиландского шелка, подушка шелковая цвета фиалки, вуаль золотая с кисточкой?

Она навела на меня лорнет.

– От вас воняет пивом, – сказала она. – Но вы, должно быть, чистенький мужчинка. Идемте ко мне.

– Ладно, – ответил я, – в другой раз. Сейчас я ужасно занят. Сейчас мне некогда.

– Ничего, ничего, – ответила она, – можно и тут, отойдемте в сторонку.

Видя, что я не останавливаюсь, крикнула:

– А может быть, вы литератор, вы ведь все, подлецы, нищенствуете. Я одного взяла на содержание, Вертихвостова. Он стихи мне про сифилис читает, себя с проституткой сравнивает. Меня своей невестой называет.

– Отстаньте, дорогое существо, – сказал я, – отстаньте. Я не литератор, я любопытствующий.

Она шла за мной и проводила меня почти до площади Жертв Революции. Там она села на скамейку и заплакала.

– Кой черт вы плачете? – спросил я ее. – Или вам жаль шубы из горносталя, или другой, из каракумского меха с жемчужинами на отвороте, или кольцо из ништадтской бирюзы, или накидки из ткани хорасанской, или шахмат из рыбьих зубов, шкатулок из янтаря?

– Я хотела бы покататься на велосипеде, я ведь одна из лошадок полковника Бабулина, я хочу, чтобы вокруг меня были офицеры.

Тут я только заметил, что ее совершенно развезло.

«Пьяница», – подумал я и удвоил шаг.

Был второй час ночи, когда я подошел к дому, где жил Тептелкин. Дворник пропустил меня. Я прошел в полуразрушенный флигель, встал против окна Тептелкина. Они сидели за столом, горела керосиновая лампа, они что-то читали, жарко спорили. Иногда неизвестный поэт вставал и прохаживался по комнате. «Что они читают, о чем говорят? – подумал я. – Наверно, хихикают над современностью».

– Я думаю, – поднялся неизвестный поэт, – наша эпоха героическая.

– Несомненно героическая, – подтвердил Тептелкин.

– Я думаю, что мир переживает такое же потрясение, как в первые века христианства.

– Я убежден в этом, – ответил Тептелкин.

– Какое зрелище перед нами открывается! – заметил неизвестный поэт.

– В какой интересный момент мы живем! – восторженно прошептал Тептелкин.

– Однако, пора, – отошел неизвестный поэт от окна. – Я возьму у вас Данта.

– Конечно, – ответил Тептелкин.

Неизвестный поэт подошел, закрыл книгу, положил ее в карман. Стал прощаться.

Глава IX. Поэт Сентябрь и неизвестный поэт

Однажды неизвестный поэт читал стихи в уголке имени Кружалова.

Вокруг него извивался пьяный, бородатый, в ситцевой рубахе человек и почти плакал от восторга.

– Боже мой, – повторял он, – какие гениальные стихи! О таких стихах я мечтал всю жизнь!

Знакомые барышни дружно хлопали неизвестному поэту. Человек в ситцевой рубахедохнул на него винным перегаром, потряс руку.

– Ради бога, зайдите ко мне, моя фамилия Сентябрь. Неизвестный поэт достал из кармана обрывки исписанных бумажек, выбрал на одном из них свободное место, записал адрес.

– Я приехал из Персии, зайдите ко мне, я давно не слышал настоящих стихов, – сказал человек в ситцевой рубахе.

На следующий день неизвестный поэт отправился к Сентябрю.

Сентябрь жил в другой части города, в так называемом доходном доме, т. е. в высоком доме с узеньким, как колодец, двором, с большими, со всеми удобствами, квартирами на улицу и маленькими, в боковых флигелях и заднем фасаде, неумолимо однообразными, повторяющимися по одному плану снизу вверх.

Неизвестный поэт позвонил. Дверь ему отворил Сентябрь, трезвый, в высоких сапогах, в чистой рубахе, подпоясанный ремнем.

В первой комнате посредине стоял стол, накрытый скатертью, на нем остатки еды. Вокруг стола четыре покоробленные дождем венские стула. На гвоздике висело пальто, порыжевшее от времени, и кофточка жены. Половина комнаты была отгорожена шкафом, за ним стояло брачное ложе Сентября.

Неизвестный поэт отложил свою палку, украшенную епископским камнем, положил шляпу и с искренней симпатией посмотрел на Сентября. Он уж многое знал о нем. Знал, что тот семь лет тому назад провел два года в сумасшедшем доме, знал нервную и ужасную стихию, в которой живет Сентябрь.

– Я со вчерашнего дня не могу успокоиться, – говорил Сентябрь, – до сумасшедшего дома, в сумасшедшем доме и в Персии мне чудились такие стихи, как будто вы умирали не раз, как будто вы не раз уже были.

Неизвестный поэт осмотрел комнату.

– Прочтите мне свои стихи, – сказал он.

– Нет, нет, потом. Вот моя жена.

Из-за шкафа вышла худенькая женщина с семилетним чистеньким, красивым мальчиком.

– Вот мой зайченок Эдгар. Это необыкновенный поэт, – сказал он ребенку, показывая глазами на неизвестного поэта.

– Пушкин? – спросил мальчик и широко раскрыл глаза.

Сентябрь провел неизвестного поэта в свою комнату. Узенькая кровать (отдельное ложе Сентября), прикрытая фиолетовым одеялом с черными горизонтальными полосами. Тоненькая подушка служила изголовьем. Вся исчерканная рукопись валялась посредине постели. На подоконнике стоял стакан и дыбилась начатая осьмушка махорки. У стены черный столик и стул. Комната была оклеена обоями с яркими розами.

Сентябрь и неизвестный поэт сели на постель.

– Зачем вы приехали сюда! – Помолчав, неизвестный поэт посмотрел в окно. – Здесь смерть. Зачем бросили берег, где печатались, где вас жена уважала, так как у вас были деньги? Где вы писали то, что вы называете футуристическими стихами. Здесь вы не напишете ни одной строчки.

– Но ваши стихи? – ответил Сентябрь.

– Мои стихи, – неизвестный поэт задумался, – может быть, совсем не стихи. Может быть, они оттого так действуют. Для меня они иносказание, нуждающийся в интерпретации специальный материал.

– Я не все понимаю, что вы говорите, – заходил Сентябрь по комнате. – Я кончил только четырехклассное городское училище, затем я сошел с ума. По выходе из больницы стал писать символистические стихи, ничего не зная о символизме. Когда, затем мне случайно попались рассказы По, я был потрясен. Мне казалось, что это я написал эту книгу; я только недавно стал футуристом.

Он остановился, приподнял край одеяла, вытащил из-под кровати деревянный ящик, открыл его, достал рукопись, прочел:

Весь мир пошел дрожащими кругами,
И в нем горел зеленоватый свет.
Скалу, корабль, и девушку над морем
Увидел я, из дома выходя.

По Пряжке, медленно, за парой пара ходит,
И рожи липкие. И липкие цветы.
С моей души ресниц своих не сводят
Высокие глаза твоей души.

«Удивительную интеллигентность, – думал неизвестный поэт, пока Сентябрь читал, – вызывает душевное расстройство». Он посмотрел в глаза Сентябрь: «Жаль, что он не может овладеть своим безумием».

– Я написал это стихотворение, – снова заходил Сентябрь по комнате, – еще до выхода из лечебницы. Я его тогда понимал, но теперь совсем не понимаю. Для меня это сейчас набор слов.

Он нагнулся и вынул из ящика другие стихи. Выпрямился, снова стал читать.

В общей ритмизированной болтовне изредка попадались нервные образы, но все в целом было слабо.

Сентябрь это почувствовал, сел на корточки, сконфуженно принялся рыться в глубине сундука. Он вытащил книжечки своих стихов, напечатанные в Тегеране, но и в них не было ничего.

– Чайник вскипел, – остановившись в дверях, обратилась к мужу жена, – Петр Петрович, пригласи гостя чай пить.

– Сейчас, сейчас – и Сентябрь в глухой безнадежности скороговоркой стал читать свои недавние, футуристические стихи.

Неизвестный поэт почти в отчаянии сидел на кровати.

«Вот человек, – думал он, – у которого было в руках безумие, и он не обуздал его, не понял его, не заставил служить человечеству».

От окна уже несло ночным холодком. Сентябрь и неизвестный поэт прошли в соседнюю комнату.

Розовые сушки лежали на тарелке. Жена Сентября разливала чай; маленькая, черненькая, морщинистая, но юркая, она быстро, быстро говорила, предлагала сушки, опять говорила. Наконец неизвестный поэт прислушался.

– Не правда ли, – продолжала она, – это безумие приехать сюда, здесь страшно жить, а у него у Байкала родители крестьяне, дом – полная чаша, туда, а не сюда надо было ехать.

Керосиновая лампа мутно горела на столе. Отодвинув стакан, семилетний Эдгар спал, положив на руки голову.

– Зайченыш мой, – склонился Сентябрь и поцеловал своего сына.

Наступило молчание.

– Ты меня и сына погубишь, нам надо уехать, уехать! Встав из-за стола, она принялась ходить по комнате. Глубокой ночью спускался неизвестный поэт по лестнице.

На пустой улице, слушая замолкавшее эхо своих шагов, облокотился на палку с большим иерархическим аметистом, выпустил лопатки и задумался. Хотел бы он быть главою всех сумасшедших, быть Орфеем для сумасшедших. Для них бы разграбил он восток и юг и одел бы в разнообразие спадающих и вновь появляющихся риз несчастные приключения, случающиеся с ними.

Он с ненавистью поднял палку и погрозил спящим бухгалтерам, танцующим и поющим эстрадникам. Всем не испытывавшим, как ему казалось, страшной агонии.

– Помогите! о помогите! – мерещилось ему, кричал девичий голос из первого этажа.

Ничего не понимая, с силой, удесятеренной тоской, он, прихрамывая, взбежал по лестнице, сбежал с нее и с разбегу кинулся в окно. Глаза у него остановились, шея напряглась. Раз, раз! вцепился он в чей-то затылок и начал бить кулаками по голове; его легко сбросили – он вцепился в горло; его откинули – он схватил тяжелый стул. Ударил.

Стало тихо.

У ног его лежал Свечин. Никакой девушки в комнате не было.

«Вот так штука, – подумал неизвестный поэт, приходя в себя, – черт знает что произошло».

Вся квартира зашевелилась, захлопали двери, затопали ноги по коридору.

Неизвестный поэт морщил лоб.

Побежали за постовым милиционером.

Выяснили, что в то время, как Свечин спал, в комнату ворвался через окно его знакомый и покушался его убить.

«Какая странная жизнь, – думал неизвестный поэт. – По-видимому, во мне глубоко, глубоко живы ощущения детства. Когда-то женщина мне казалась особым существом, которое нельзя обижать, для которого надо всем жертвовать.

По-видимому, в моем мозгу до сих пор сохранились какие-то бледные лица, распущенные волосы и ясные голоса. Должно быть, подсознательно я ненавидел Свечина, иначе как могла возникнуть эта галлюцинация?»

Окно было забито досками, за досками была укреплена решетка; наверху виднелась узенькая полоска облачного неба; на одной койке сидел неизвестный поэт, на другой – лежал пожилой заключенный.

Больше всех удивлен был этим происшествием Свечин. Он его никак не мог объяснить. Он ходил обвязанный и пожимал плечами.

Глава X. Некоторые мои герои в 1921–1922 гг

С некоторых пор, с опозданием на два года, в городе – я говорю о Петербурге, а не о Ленинграде – все заражены были шпенглерианством.

Тонконогие юноши, птицеголовые барышни, только что расставшиеся с водянкой отцы семейств ходили по улицам и переулкам и говорили о гибели Запада.

Встречался какой-нибудь Иван Иванович с каким-нибудь Анатолием Леонидовичем, руки друг другу жали:

– А знаете, Запад-то гибнет, разложение-с. Фьютс культура – цивилизация наступает... Вдыхали.

Устраивались собрания. Страдали.

Поверил в гибель Запада и поэт Троицын. Возвращаясь с неизвестным поэтом из гостей, икая от недавно появившейся сытной еды, жалостно шептал:

– Мы, западные люди, погибнем, погибнем. Неизвестный поэт напевал:

О, грустно, грустно мне, ложится тьма густая
На дальнем Западе, стране святых чудес...

Говорил о К. Леонтьеве и хихикал над своим собратом. Ведь для неизвестного поэта что гибель? – ровным счетом плюнуть, все снова повторится, круговорот-с.

«Подыми ножку и скачи», – хотелось ему посоветовать Троицыну. Он хлопнул его по плечу: – Любуйся зрелищем мира, – и показал на собачку, гадящую у ворот.

Троицын остановился – собак тогда еще мало было в городе.

– А все же грустно... чка, – он назвал неизвестного поэта уменьшительным именем. – Вот пишешь стихи, а кому они нужны. – Читателей нет, слушателей нет – грустно.

– Пиши идилии, – посоветовал неизвестный поэт, – у тебя идилический талант; делай свое дело, цветок цветет, трава растет, птичка поет, ты стихи писать должен.

Помолчали.

– Луна. Звезды, – сладко зевнул Троицын. – Давай проходим сегодняшнюю ночь.

– Проходим, – согласился неизвестный поэт.

На стоптанных каблуках, в лохмотьях, поэты шли то к Покровской площади, то на Пески, то к саду Трудящихся.

– Ты любишь и чувствуешь Петербург, – засмотрелся Троицын у Казанского собора на звезды.

– Неудивительно, – рассматривая свои сапоги, заметил неизвестный поэт, – я в нем присутствую в лице четырех поколений.

– Четыре поколения вполне достаточно, чтобы почувствовать город, – доставая платок, подтвердил Троицын. – А я с Ладоги, – продолжал он.

– Пиши о Ладогe. У тебя детские впечатления там, у меня – здесь. Ты любил в детстве поля с васильками, болота, леса, старинную деревянную церковь, я – Летний сад с песочком, с клумбочками, со статуями, здание. Ты любил чаёк с блюдечка попивать.

Помолчали.

Неизвестный поэт оглянулся.

– Я парк раньше поля увидел, безрукую Венеру прежде загорелой крестьянки. Откуда же у меня может появиться любовь к полям, к селам? Неоткуда ей у меня появиться.

Они сели на камни у забора Юсуповского сада.

– Прочти стихи, – предложил Троицын неизвестному поэту. Неизвестный поэт положил палку.

– Черт знает что, – растрогался Троицын, – настоящие петербургские стихи. Посмотри, видишь луну сквозь развалины?

Он встал на цыпочки на груди щебня. Неизвестный поэт закурил.

– Не смотри на луну, – сказал он, – это тревожащее явление. – И, поднявшись перед Троицыным, хотел заслонить ее.

В год шпенглериянства Миша Котиков приехал, поразился и влюбился в силу, гордость, мироощущение недавно утонувшего петербургского художника и поэта Заэвфратского, высокого седого старика, путешествовавшего с двумя камердинерами. Поэт Заэвфратский с тридцатипятилетнего возраста создавал свою биографию. Для этого он взбирался на Арарат, на Эльбрус, на Гималаи – в сопровождении роскошной челяди. Его палатку видели оазисы всех пустынь. Его нога ступала во все причудливые дворцы, он беседовал со всеми цветными властителями.

Миша Котиков ни разу не видал Заэвфратского, но был поражен. Миша был румяный, рыжий, большеголовый мальчик, опрятный, с маленьким ротиком. «Удивительно!» – часто шептал он, склоняясь над книжками и рисунками Заэвфратского.

Плакала жена Александра Петровича Заэвфратского, когда Заэвфратского не стало, и ручки ломала.

Воспользовались случаем друзья Заэвфратского, ходили к ней и утешали.

И Свечин утешал.

А на следующий день ругался:

– Дура, птица, лежит как колода.

И ходил по всему небольшому деревянному дому и разглашал:

– Вот он с ней, а она вздыхает – ах, Александр Петрович! Через год Миша Котиков, как поклонник Заэвфратского, познакомился с Екатериной Ивановной.

Вечерком вина принес и закусочек; долго, склонив головку, говорила Екатерина Ивановна об Александре Петровиче. Какие платья он любил, чтоб она носила, какие руки были у Александра Петровича, какие прекрасные седые волосы, какой он был огромный, как он ходил по комнате и как она, встав на цыпочки, целовала его.

Сидел Миша Котиков, раскрыв свой маленький пунцовый ротик, смотрел своими голубыми ясными глазками, начал гладить и пожимать ручки Екатерины Ивановны, целовать Екатерину Ивановну в лоб. Все спрашивал:

– А какой нос был у Александра Петровича? а какой длины руки? а носил ли Александр Петрович крахмальные воротнички или предпочитал мягкие? а барабанил ли пальцами Александр Петрович по стеклу?

На все вопросы ответила Екатерина Ивановна и заплакала. Взяла мужской носовой платок с инициалами, поднесла к глазам.

– Не платок ли это Александра Петровича? – спросил Миша Котиков.

Долго она сидела молча и утирала слезы платком Заэвфратского.

Потом передала платок Мише Котикову:

– Храните его на память об Александре Петровиче.

Снова заплакала.

Миша Котиков аккуратно сложил платок и спрятал поспешно.

– А что говорил об искусстве Александр Петрович? – ощупывая платок в кармане, спросил Миша Котиков. – Чем была поэзия для Александра Петровича?

– Он со мной о поэзии не говорил, – раскрыв глаза, посмотрела в зеркало Екатерина Ивановна.

Подскочила к зеркалу.

– Посмотрите, не правда ли, я грациозная? – она стала разводить руками, склонять голову. – Александр Петрович находил, что я грациозная.

– А когда начал писать стихи Александр Петрович, в каком возрасте? – закуривая папироску, задал вопрос Миша Котиков.

– Не правда ли, я похожа на девочку, – села в кресло Екатерина Ивановна. – Александр Петрович говорил, что я похожа на девочку.

– Екатерина Ивановна, а какой столик мы накроем? – рассерженно спросил, вставая с кресла, Миша Котиков.

– Вот этот, – показала на круглый столик Екатерина Ивановна, – но у меня ничего нет.

– Я принес Бордо и... – с гордостью сказал Миша Котиков, – закуски и фрукты.

– Ах, какой вы хороший! – засмеялась Екатерина Ивановна, – я люблю вино и фрукты!

– Меня совсем забросили друзья Александра Петровича, – сказала она, вздыхая, в то время как Миша Котиков, став на цыпочки, доставал рюмки из шкафа.

– Они обо мне совсем не заботятся, знают, что я безвольная, не умею жить, совсем не обращаю на меня внимания. Не заходят, не говорят об Александре Петровиче. Не ухаживают за мной. Будемте друзьями, будемте говорить об Александре Петровиче, – добавила она.

Выпив и закусив, Миша Котиков стал рассматривать вещи в комнате.

– Не правда ли, это столик, за которым писал Александр Петрович? – указал он на небольшой круглый стол. – Отчего пыль вы не вытираете? – добавил он.

– Не умею я пыль вытирать, – ответила Екатерина Ивановна, – при Александре Петровиче я пыль не вытирала.

На следующий день проснулся Миша Котиков в постели Александра Петровича.

Рядом с ним, раскрыв ротик, высунув ручку, спала Екатерина Ивановна.

«Жаль, что она так глупа, – подумал Миша Котиков. – Никаких ценных сведений об Александре Петровиче сообщить мне не может. Ну, да ладно, от друзей Александра Петровича получу ценные сведения. А от нее узнаю, как писал Александр Петрович».

– Екатерина Ивановна, а Екатерина Ивановна, как писал Александр Петрович?

Проснувшись Екатерина Ивановна, раскинула ручки, толкнула коленком Мишу Котикова, перевернулась на другой бок и заснула.

Две недели ходил к Екатерине Ивановне Миша Котиков. Разные интимные подробности об Александре Петровиче собирал; иногда водил Екатерину Ивановну в кинематограф, иногда в театр, иногда просто по улицам гуляли.

Все узнал Миша Котиков: сколько родимых пятнышек было на теле Александра Петровича, сколько мозолей, узнал, что в 191... году у Александра Петровича на спине чирей выскочил, что любил Александр Петрович кокосовые орехи, что было у Александра Петровича за время брака с Екатериной Ивановной тьма любовниц, но что он любил ее очень.

А когда все узнал и все записал, то решил, что любовницы Александра Петровича, должно быть, умнее жены и ему больше сведений о душе Александра Петровича смогут дать. Бросил Екатерину Ивановну. Был он мальчик чистенький, одевался аккуратно в высшей степени, никогда у него ни под одним ноготочком грязь не застревала.

Узнал, что студентка Х была последней любовницей Александра Петровича, встретился с ней в одном знакомом доме, где литературные собрания устраивались.

Дом был удивительный. Две барышни – и обе стихи писали. Одна – с туманностью, с меланхолией, другая – со страстностью, с натуральностью. Они обе решили поделить мир на части: одна возьмет грусть мира, другая – его восторги.

Были еще всякие юноши и девушки. Поэтический кружок составил. Приходили и прежней эпохи поэты; тридцатипятилетние юноши. Все стихи, садясь в кружок, читали, а некоторые на балконе стояли, звездным небом и трубами любовались. Здесь-то и встретился Миша Котиков со студенткой Х.

Он тоже здесь стихи читал, сидя на подушке от дивана, ножки вытянув, глазки закрыв. Рядом с ним как раз сидела студентка Х, веселая, с длинными ножками.

– А что, Евгения Александровна, пойдемте после вечера по городу погулять, к томоновской Бирже.

– Только если соберется компания, – шепотом ответила Евгения Александровна.

В два часа ночи компания составила.

Компания прошла мимо вздыбленных коней над Фонтанкой. Всю дорогу ухаживал за Женей Миша Котиков. Говорил о том, что она удивительная и необыкновенная девушка. Когда подошли к Бирже Томона, удалились вместе Миша и Женя, склонив нежно головы.

Раскраснелся Миша Котиков, порозовела Женичка, со ступенек встали.

– Скажите, Женичка, – спросил Миша Котиков, – очень вас любил Александр Петрович?

– Обещал два месяца любить, но потом избегал встречаться.

– А когда это было?

– 11-го февраля.

– Не говорил ли с вами Александр Петрович о поэзии?

– Говорил, – ответила, поправляя юбку, Женя, – говорил, что каждая девушка писать стихи должна. Во Франции все пишут.

– А что говорил Александр Петрович об ассонансах?

– Ассонансов он не любил, говорил, что они только для песен годятся.

– Женичка, Женичка, еще поправьте юбочку, а то заметить могут.

Молодые люди прощались. Город постепенно восстанавливался. Появлялись окрашенные здания. Поэт Троицын прошел, провожая свою аптекаршу. А знакомство у него с аптекаршей было необычайное. Раз как-то он, проходя мимо аптеки, увидел за прилавком хорошенькую головку, зашел, попросил средства от головной боли; хорошенькая головка знала, что это Троицын. Еще бы не знать! Троицын везде стихи читал. Он страшно любил стихи читать.

Дала она ему средство от головной боли, и заговорил Троицын о звездах. Просто неземной человек был Троицын, только о звездах и мог говорить.

– Посмотрите, – говорил он, показывая в окно, – какая Медведица.

– А какая огромная луна, – ответила девушка.

– А какой чистый воздух ночной, – сказал Троицын.

– А знаете мое стихотворение «Дама с камелиями»? – спросил Троицын.

– Не знаю.

– Хотите, я прочитаю?

– Почитайте, – ответила барышня. Троицын почитал.

«Какие поэтические стихи!» – замечталась девушка. Троицын облокотился совсем на прилавок. Барышня посмотрела на часы.

– Сейчас моя подруга придет, я ее сегодня заменяю.

– Я вас провожу, – сказал Троицын.

– Хорошо, – раскрыла глаза барышня.

Через полчаса они шли мимо Петровского парка.

– Давайте в снежки играть, – предложил Троицын.

То она убегала, то он убегал. Прохожих не было. Сели отдохнуть, белые от снежков.

Посмотрел Троицын вокруг – никого. Посмотрела она – никого. Пошли подальше от дороги.

На следующий день Троицын бегал по городу и всем рассказывал. Но в течение двух недель ходил провожать аптекаршу, появлялся везде с аптекаршей, отводил друзей в сторону и шептал на ухо:

– Надоела мне она. Это все перпендикулярная любовь. Я, как Дон Жуан, настоящей любви ищу.

Посмотрели вслед удаляющейся парочке молодые люди, посмеялись над Троицыным.

Попрощался с Женей Миша Котиков. Условились завтра встретиться. Подошел Миша Котиков к неизвестному поэту.

– Я биографией Александра Петровича занят. Не можете ли вы дать нужные сведения?

– Гм... – лениво ответил неизвестный поэт. – Обратитесь к Троицыну. Он все знает.

Миша Котиков побежал догонять Троицына.

На следующий день Миша Котиков сидел у Троицына. Комната была полутемная. Пахло малиновым вареньем. На окнах висели кисейные занавески. На подоконнике зеленела девичья краса. На стенах были развешаны портреты французских поэтов, приколоты гравюры, изображавшие Манон Леско, Офелию, блудного сына.

– Вот перо Александра Петровича, – протянул вставочку Троицын Мише Котику, – вот чернильница, вот носовой платок Александра Петровича.

– У меня есть носовой платок Александра Петровича, – ответил с гордостью Миша Котиков.

– Как, вы тоже собираете поэтические предметы?

– Это вещи для биографии, – ответил Миша Котиков. – Важно установить, в каком году какие носовые платки носил Александр Петрович. Вот у вас батистовый, а у меня полотняный. Вещи связаны с человеком. Полотняный платок показывает одну настроенность души, батистовый – другую.

– У меня платок тринадцатого года.

– Вот видите, – заметил Миша Котиков, – а у меня шестнадцатого! Значит, Александр Петрович пережил какую-то внутреннюю драму или ухудшение экономического положения. По платку мы можем восстановить и душу и экономическое состояние владельца.

– А я вообще собираю поэтические предметы, – доставая шкатулку, сказал Троицын. – Вот шнурок от ботинок известной поэтессы (он назвал поэтессу по имени). – Вот галстук поэта Лебединского, вот автограф Линского, Петрова, вот – Александра Петровича.

Миша Котиков взял автограф Александра Петровича, стал рассматривать.

– А где бы мне добыть автограф Александра Петровича?

– У Натальи Левантовской, – ответил Троицын.

«А...» – подумал Миша Котиков.

Глава XI. Остров

Еще весной переехал Тептелкин в Петергоф, снял необыкновенное здание.

Задумался у входа. Здесь он будет принимать друзей, будет гулять по парку с друзьями, как древние философы, и, прохаживаясь, объяснять и разъяснять, говорить о высоких предметах. Здесь посетит и мечта жизни его, необыкновенное и светлое существо, – Мария Петровна Далматова. Сюда приедет и философ его, старый наставник и необыкновенный поэт, духовный потомок западных великих поэтов, прочтет им всем новые стихи свои на лоне природы. И другие знакомые приедут. Задумался Тептелкин.

Утром он встал, распахнул окно и запел как птичка. Внизу чирикали, взлетали воробьи, шла молочница.

«Теплынь-то какая, – подумал он и простер руки к просвечивающему сквозь ветви деревьев солнцу. – Тихо тут, совсем тихо, я буду работать вдали от города; здесь я могу сосредоточиться, не разбрасываться».

Он облокотился на стол.

– Ха-ха, – смеялись по вечерам обитатели соседних дач, утихомирившиеся советские чиновники, со своими женами и детворой, идя по дорожкам от дач и погружаясь в зелень парка.

– Ха-ха! приехал философ; тоже, выбрал помещение!

– Ха-ха, дурачок, по утрам цветы собирает.

Тептелкин со дня на день ждал приезда своих друзей. Собирал цветы по утрам, чтобы встретить друзей с цветами.

Вот идет он с охапкой черемухи – Мария Петровна любит черемуху. Вот завернул он за угол с букетом сирени. Сирень любит Екатерина Ивановна.

Но отчего нигде не видно Натальи Ардалионовны? Куда она скрылась?

– Мы последний остров Ренессанса, – говорил Тептелкин собравшимся, – в обставшем нас догматическом море; мы, единственно мы, сохраняем огоньки критицизма, уважение к наукам, уважение к человеку; для нас нет ни господина, ни раба. Мы все находимся в высокой башне, мы слышим, как яростные волны бьются о гранитные бока.

Башня была самая реальная, уцелевшая от купеческой дачи. Низ дачи был растащен обитателями соседних домов на топку кухонь, но верх уцелел, и в комнате было уютно. Стоял стол, накрытый зеленой скатертью. Вокруг стола сидело общество: дама в шляпе со страусовыми перьями и с аметистовым кулоном, собачка рядом с ней на стуле; старичок, рассматривающий ногти и делающий тут же маникюр; юноша в кителе с старозаветной студенческой фуражкой на коленях; философ Андрей Иванович Андриевский; три вечных девы и четыре вечных юноши. В уголке Екатерина Ивановна завивала пальцем волосы.

– Боже мой, как нас мало, – Тептелкин качнул своими сидящими волосами. – Попросим уважаемого Андрея Ивановича сыграть, – повернулся он к высокому философу, совершенно седому, с длинными пушистыми усами.

Философ встал, подошел к футляру, вынул скрипку.

Тептелкин растворил окно, отошел. Философ сел на подоконник, засунул угол платка за крахмаленный воротничок, попробовал струны и заиграл.

Внизу цвели запоздавшие ветви сирени. В комнату проникал фиолетовый свет. Там, вдали, мерцало море, освещенное развенчанной, но сохранившей очарование для присутствующих луной. Перед морем фонтаны стремились достичь высоты луны разноцветными струями, наверху кончавшимися трепещущими белыми птичками.

Философ играл старинную мелодию.

Внизу, по аллее фонтанов, проходил Костя Ротиков с местным комсомольцем. У комсомольца были глаза херувима. Комсомолец играл на балалайке.

Костя Ротиков был упоен любовью и ночью.

Философ играл. Он видел Марбург, великого Когена и свою поездку по столицам западноевропейского мира; вспомнил, как он год прожил на площади Жанны д'Арк; вспомнил, как в Риме... Скрипка пела все унывней, все унывней.

Философ с густой, седой шевелюрой, с молодежью лицом, с пушистыми усами и бородой лопатой видел себя великолепно одетым, в цилиндре, с тросточкой, гуляющим с молодой женой.

– Боже мой, как она любила меня, – и ему захотелось, чтоб умершая жена его стала вновь молодой.

– Не могу, – сказал он, – не могу больше играть, – опустил скрипку и отвернулся в фиолетовую ночь.

Вся компания сошла вниз в парк. Философ некоторое время шел молча.

– По-моему, – прервал он молчание, – должен был бы появиться писатель, который воспел бы нас, наши чувства.

– Это и есть Филострат, – рассматривая только что сорванный цветок, остановился неизвестный поэт.

– Пусть будет по-вашему, назовем имеющего явиться незнакомца Филостратом.

– Нас очернят, несомненно, – продолжал неизвестный поэт, – но Филострат должен нас изобразить светлыми, а не какими-то чертами.

– Да уж, это как пить дать, – заметил кто-то. – Победители всегда чернят побежденных и превращают – будь то боги, будь то люди – в чертей. Так было во все времена, так будет и с нами. Превратят нас в чертей, превратят, как пить дать.

– И уже превращают, – заметил кто-то.

– Неужели мы скоро друг от друга отскочим? – ужасаясь, прошептал Тептелкин, моргая глазами, – неужели друг в друге чертей видеть будем?

Шли к Бабьегонским высотам.

Компания расстелила плед, каждый скатал валиком свое пальто.

– Какой диван! – воскликнул Тептелкин.

Впереди, освещенный магометанским серпом, темной массой возносился Бельведер; направо – лежал Петергоф, налево – финская деревня.

Когда все расположились, неизвестный поэт начал:

Стонали, точно жены, струны.

Ты в черных нас не обращай...

Тептелкин, прислонившись к дереву, плакал, и всем в эту ночь казалось, что они страшно молодые и страшно прекрасные, что все они страшно хорошие люди.

И поднялись – шерочка с машерочкой и затанцевали на лугу, покрытом цветами, и появилась скрипка в руках философа и так чисто и сладко запела. И все воочию увидели Филострата: тонкий юноша с чудными глазами, оттененными крылами ресниц, в ниспадающих одеждах, в лавровом венке – пел, а за ним шумели оливковые рощи. И, качаясь, как призрак, Рим вставал.

– Я предполагаю написать поэму, – говорил неизвестный поэт (когда видение рассеялось), – в городе свирепствует метафизическая чума; синьоры избирают греческие имена и уходят в замок. Там они проводят время в изучении наук, в музыке, в созидании поэтических, живописных и скульптурных произведений. Но они знают, что они осуждены, что готовится последний штурм замка. Синьоры знают, что им не победить; они спускаются в подземелье,

складывают в нем свои лучезарные изображения для будущих поколений и выходят на верную гибель, на осмеяние, на бесславную смерть, ибо иной смерти для них сейчас не существует.

– Ах, не правда ли, я теперь совсем глупой стала, – начала приставать к Тептелкину Екатерина Ивановна, – совсем глупой стала без Александра Петровича и совсем несчастной.

– Послушайте, – отвел Тептелкин в сторону Екатерину Ивановну, – вы совсем не глупая, просто жизнь так складывается. «Развратил ее совершенно Заэвфратский, развратил», – подумал он.

– А где Михаил Петрович Котиков, – прошептала Екатерина Ивановна, – отчего он не заходит, не говорит со мной об Александре Петровиче?

Помолчал Тептелкин:

– Не знаю.

Екатерина Ивановна, приподняв ножку, начала осматривать свои туфельки.

– А ведь туфли-то у меня совсем истрепались, – широко раскрыв глаза, сказала она. – И дома нет одеяла, пальто прикрываться приходится.

И задумалась.

– Нет ли у вас конфеток?

– Нет, – грустно ответил Тептелкин.

– А ведь Александр Петрович великий поэт, не правда ли? Нет теперь больше таких поэтов, – выпрямилась она с гордостью. – Он меня больше всего на свете любил. – И улыбнулась.

К Тептелкину подошла Муся в старомодной соломенной шляпке с голубыми ленточками и слегка блестящими ногтями дотронулась до его руки.

– Скажите, – сказала она, – что значит:

Есть в статуях вина очарованье,
Высокой осени пьянящие плоды...

– Ах, ах, – покачал головой Тептелкин, – в этих строках скрыто целое мировоззрение, целое море снующих, то поднимающихся как волны, то исчезающих смыслов!

– Как хорошо мне с вами, – сказала Муся. – Мне он говорил, – она показала глазами на неизвестного поэта, разговаривающего с вечным юношей, – что вы последние, уцелевшие листы высокой осени. Я это не совсем поняла, хотя кончила университет; но ведь теперь в университетах не этому совсем учат.

– Этому не учат, это чувствуют, – заметил Тептелкин.

– Сядемте на ту ступеньку, – указала Муся подбородком.

Они поднялись повыше. Сели на ступеньку между кариатид портика Бельведера.

– Как поют соловьи! – сказала Муся. – Отчего девушек соловьи всегда волнуют?

– Не только девушек, – ответил Тептелкин, – меня соловьи тоже всегда волнуют.

Он посмотрел Мусе в глаза.

– А я женщин боюсь, – задумчиво уронил он. – Это страшная стихия.

– Чем же страшная? – улыбнулась Муся.

– А вдруг закрутит, закрутит и бросит. С моими друзьями это случалось, а как бросит, никак не умолишь жить вместе. А как мои друзья на своих жен молились и портреты в бумажниках носили! А они всегда, всегда бросают.

Тептелкин обиделся за друзей. Муся достала гребенку и стала расчесывать Тептелкину волосы. Внизу молодые люди пели:

Gaudeamus igitur...

Тептелкин вспомнил окончание университета, затем погрузился в свое детство и в нем встретился с Еленой Ставрогиной. Ему показалось, что есть нечто от Елены Ставрогиной в Марии Петровне Далматовой, что она как бы искаженный образ Елены Ставрогиной, искаженный – но все же дорогой. Он поцеловал у нее руку.

– Боже мой, – сказал он, – если б вы знали...

– Что, что? – спросила Муся.

– Ничего, – тихо ответил Тептелкин.

Внизу пели:

Есть на Волге утес...

Утром в поезде ехали обратно в Ленинград Костя Ротиков и неизвестный поэт. Неизвестный поэт грустил невыносимо. Ведь его ждет полное забвение. Костя Ротиков развлекал его как мог и говорил о барокко.

– Не правда ли, – говорил он, – вы стремитесь не к совершенству и законченности, а к движущемуся и становящемуся, не к ограниченному и осязаемому, а к бесконечному и колоссальному.

В вагоне никого не было, они сидели вдвоем. Костя Ротиков встал и стал читать сонет Гонгоры.

Неизвестный поэт с нежностью смотрел на Костю Ротикова, насмешливого и остроумного, слегка легкомысленного, читающего только иностранные книги и несколько свысока любящегося творениями рук человеческих.

– Еще поборемся, – сказал он, выпрямляясь.

– Что с вами? – спросил Костя Ротиков.

– Ничего, – улыбнулся неизвестный поэт, – я обдумываю новую барочную поэму.

За окнами неслись поля с высокой травой. Появившийся Костя Ротиков уже читал сонет Камюэнса и находил огромное сходство в настроенности с пушкинским стихотворением:

Для берегов отчизны дальней...

В конце поезда, в вагоне, одна, сидела Екатерина Ивановна и обрывала ромашку: любит – не любит, любит – не любит. Но кто ее любит или не любит, – не знала. Но чувствовала, что ее должны любить и о ней заботиться.

А в самом последнем вагоне ехал философ с пушистыми усами и думал:

«Мир задан, а не дан; реальность задана, а не дана». Чиво, чиво, – поворачивались колеса. Чиво, чиво... Вот и вокзал.

У Кости Ротикова палочка с большим кошачьим глазом. У Кости Ротикова глаза голубые, почти сапфировые. У Кости Ротикова пальцы длинные, розовые.

– Куда мы направимся? – весело спросил неизвестный поэт. – Делать нам равно нечего.

– Пойдемте слушать, как изменяется язык отечественных осин, – улыбнулся Костя Ротиков.

Весь день провели вместе Костя Ротиков и неизвестный поэт. Гуляли по Летнему саду, по набережным Фонтанки, Екатерининского канала, Мойки, Невы. Постояли перед Медным Всадником, пожалели, что некогда отцы города счистили зелень – прекрасную черно-зеленую патину. Покурили. Сели на скамейку. Поговорили о том, что город по происхождению большой дворец.

Поговорили о книгах.

Летний вечер. Никаких официальных занятий. Никакой кафедры. Мошкара кружится и вьется. В лодке сидит Тептелкин, гребет. У берега качаются тростники, наверху виден Петергофский дворец, на берегу стоит неизвестный поэт.

– Приехали! – кричит Тептелкин и гребет к берегу. – Наконец-то вы приехали. Если бы вы знали, как мне грустно жить здесь, сегодня мне особенно грустно.

Лодка пристала к берегу, неизвестный поэт сходит в нее, и Тептелкин, сутулый, сидящий, гребет от берега. Неизвестный поэт управляет рулем, – лодка несется ко взморью.

– Мне вспомнилось, – говорит Тептелкин, – как я преподавал несколько лет тому назад в одном университетском городе. Я помню, как раз в этот день, в этот час, мы – я и учащаяся молодежь – отправились на противоположный берег реки и там в рощице я прочел лекцию.

Сумерки.

Наконец в темноте они привязали лодку и пошли гулять по парку.

На востоке появилась розовая полоска зари, когда молча они подошли к башне.

Неизвестный поэт слушал, как Тептелкин долго возится наверху в единственной жилой комнате, как он снимает сапоги и ставит их у кровати, как звенит ложечка в стакане.

«Пьет холодный чай», – решил он.

Утром Костя Ротиков увидел неизвестного поэта дремлющим на белой скамье в парке у большой ели, прямой, как мачта. Друзья радостно поздоровались и отправились к морю. Позади косят траву. Костя Ротиков сел на корточки в море, среди волн, крепкий, розовый. Неизвестный поэт дремлет на камнях, на берегу, согретый утренним солнцем.

– А знаете, – появился Костя Ротиков, – Андрей Иванович поселился здесь.

Дрыгая ногой и обтираясь мохнатым полотенцем, он продолжает:

– Я у него беру уроки методологии искусствознания.

Камни и песок раскалены. Костя Ротиков зашнуровывает ботинки с круглыми носами. Неизвестный поэт весело скачет с камня на камень и курит.

Молодые люди отошли от кладбища и направились наискось, по тропинке, между еще не скошенным пушистым медком, покрытым черными букашками и зеленовато-металлическими жучками и улиточной слизью, тмином, красным и белым клевером и щавелем, к дороге, ведущей в Новый Петергоф, к небьющим фонтанам (будний день), к статуям с сошедшей позолотой, ко дворцу, где у балюстрады ходит взад и вперед инвалид – продавец папирос, бегаёт босоногий мальчишка, предлагая ириски, и, скрестив ноги, прислонившись к ящику, меланхолически время от времени копает в носу мороженщик.

Молодые люди вошли в общественную столовую, расположенную вблизи дворца, и стали есть кислые щи. Одна тарелка была тяжелая, морская, другая – с гербом; ложки были оловянные.

– Что собой представляет Филострат? – спросил Костя Ротиков, поднося ложку ко рту.

Но в это время вошел в столовую философ Андрей Иванович в сопровождении фармацевта и научной сотрудницы местного института.

Костя Ротиков и неизвестный поэт, встав, приветствовали вошедшего. После обеда все вместе направились в старый Петергоф на празднование годовщины местного института. Но по дороге решили зайти к Тептелкину.

Тептелкин в это время принимал солнечную ванну. Он сидел голый в трехногом кресле, и играл пальцами ног, и улыбался, и пил чай, и читал «Дух христианства» Шатобриана.

Костя Ротиков вошел первый и отпрянул. Прикрыл дверь, попросил поднимающихся подождать, приоткрыл дверь и элегантно проскочил в комнату. Тептелкин от неожиданности весь покраснел.

Компания, расположившись у башни, в садике со сломанным забором, с кустами акаций, со следами клумб, развлекалась. Она увеличилась еще за это время. Среднего роста студент, сидя на пне играл на гребенке. Другой, крошечного роста, присвистывал. Философ сидел на

скамейке, недавно поставленной и еще не окрашенной; рядом с ним сидел фармацевт, вечно шевелящий губами; на траве аккуратно сидела сотрудница местного института. В это время с высоты башни спустился Костя Ротиков под руку с Тептелкиным.

Фармацевт, наконец, только что начал говорить; ему жалко было, что ему помешали. Он был огромного роста, в крахмальном белье и собственно не носил, а преподносил свой костюм.

Тут же, прося не двигаться, всю группу снимал «кодаком» молодой человек, увлекающийся фрейдизмом; он даже уроки немецкого языка здесь брал у Тептелкина, чтобы читать Фрейда в подлиннике.

– Господа, – сказал Тептелкин. – Может быть, вместо того чтобы сейчас идти на годовщину, еще посидим здесь, потому что через час ко мне ученик из города приедет.

Пока Тептелкин в башне подготавливал ученика трудовой школы в вуз, неизвестный поэт и Костя Ротиков сходили за пивом, все поочередно пили из оказавшегося у кого-то стаканчика, обмахивались носовыми платками, били и отгоняли комаров.

Послышались мужские шаги. На дороге появилась сморщенная цыганка в высоких смазных сапогах. Увидев башню и компанию, она быстро побежала к ней:

– Дай погадаю, дай погадаю! Глаза твои заграничные! Ходила она между лежащими, сидящими и стоящими.

– Не надо, не надо, – отвечали ей, – мы свое будущее знаем.

Никто не заметил, как из башни проскользнул ученик с физикой Краевича под мышкой.

– Ля-ля, ля-ля, – пел Тептелкин, пряча деньги и спускаясь по лестнице.

Уже солнце садилось, когда компания приблизилась к местному институту. Они опоздали, научная часть кончилась, неслась музыка из небольшого зала небольшого дворца герцогов Лейхтенбергских. Стеклопакеты в парк были растворены, и красивые и некрасивые девушки, в тщательно сохраненных кружевных платяницах, вились у входа. Внутри танцевали. Все носило чистый и невинный характер. Радостные лица молодых девушек и молодых мужчин, тапер, сохранявший медленность, профессора, сидящие по стенам и с достоинством беседующие друг с другом. Компания гуськом вошла в зал. Уже давно луна рябит. Костя Ротиков танцует до седьмого пота; философ осторожно ходит между танцующими и беседует с профессорами; Тептелкин выплывает из дверей в парк с фармацевтом. Вокруг летают ночные бабочки и бьются в освещенные окна.

Тьма. Философ, фармацевт и научная сотрудница движутся тремя силуэтами. Фармацевт следит, как бы не оступился философ, как бы не разбился, как бы не пропало одно из последних философских светил.

У аккуратного крыльца два силуэта целуются с третьим.

– Покойной ночи, дорогой Андрей Иванович, – говорят они.

Утром студенты опять разбрелись по парку собирать козявок, жучков, всякую травку; некоторые плыли на лодках по небольшим прудам, сачками ловили в воде водоросли. Было жарко, солнце палило. Пахло сеном.

Глава XII. Расцвет

Через южный городок лихо шли отряды матросов, суетливо полки красноармейцев, оборванных и усталых. Тянулись артиллерия и обозы. Врангель высадил десант.

Он был в 16-ти верстах, когда в актовом зале двухэтажной женской гимназии, рядом с больницей, против собора, открылось торжественное заседание. За длинным столом, накрытым традиционным зеленым сукном, сидели петербуржцы. Сначала, вскочив, произнес речь только что назначенный ректор, затем говорили только что избранные деканы, потом только что избранные профессора и преподаватели. После третьего преподавателя поднимается Тептелкин.

– Граждане, – говорит он, – вы почтили нас священным званием профессоров и преподавателей; от голода, от повальных болезней, от морального страдания, на севере Петербург погибает. Там книгохранилища опустели, музеи больше не посещаются. В университете бродят, серые, как тени, студенты, там нет ни собак, ни кошек, вороны не летают, воробьи не чирикают. Там всю зиму не раздеваются, сидят у буржеек, как эскимосы. На улицах валяются дохлые лошади с поднятыми к небу ногами и совершенно прозрачные, опухшие люди режут их на части и, запрятав куски за пазуху, тайком возвращаются по домам.

Здесь, среди южной природы, в благодатном климате, в изобилии плодов земных, мы разовьем интеллектуальный сад, насадим плоды культуры.

Тептелкин останавливается, поднимает лицо, ломает руки.

– Здесь, на юге, культура взойдет многоярусной башней, южные ветры будут овеять ее, невинные цветы усеют ее подножие, в окна будут залетать птицы, летом мы будем уходить в степь целыми толпами и читать вечные страницы философии и поэзии. Война, разруха не должны смущать вас. Я думаю, вы чувствуете тот пафос, который одушевляет нас.

Пожилой человек, знаток сумеро-аккадийских письмен, не выдержал и захохотал; старичок, которого увлекала античность не своими грамматическими формулами, а своей эротикой, прыснул и закрыл лицо руками; биолог, известный донжуан, посмотрел иронически и поправил пробор. Но весь актовый зал аплодировал Тептелкину, и в учительской ему пожимали руку и беседовали.

По краткому собеседованию со студентами, Тептелкин решил читать курс по Новалису.

Великолепна была первая лекция Тептелкина. Он склонялся на фоне досок над кафедрой и время от времени заглядывал в свои листки.

– Коллеги, – говорит он, – мы сейчас погрузимся в прекраснейшее, что существует на свете. Мы выйдем из связанного по рукам и по ногам классицизма, чтобы услышать пленительную музыку человеческой души, чтобы лицезреть, еще покрытый росой, букет юности, любви и смерти.

Голос Тептелкина переливался как пение соловья, его фигура – высокая, стройная, без малейшей сутулости, его руки, соединенные в виде лодочки за спиной, его вдохновенные глаза, – все вызывало в слушающих восторг, а когда Тептелкин на следующей лекции стал читать оригиналы и тут же переводить их и комментировать, привлекая бог знает скольких поэтов и на скольких языках, многие юноши окончательно были потрясены, а барышни влюбились в Тептелкина. Всю учащуюся молодежь охватила физическая жажда юности, любви и смерти.

Всю зиму лекции Тептелкина были переполнены. Уже настала весна, и на мостовых меж кирпичей пробивалась сорная трава; уже солнце грело; уже Тептелкин носил летний костюм и белые парусиновые туфли.

Когда проходил он по улице, за ним следовали барышни с букетами цветов и говорили о юности, любви и смерти. Когда он заходил к учащейся молодежи, его встречали почтительными поклонами.

Тептелкин стал кумиром города.

Некоторые студенты принялись изучать итальянский язык, чтобы читать о любви Петрарки и Лауры в подлиннике, другие повторять латынь, чтобы читать переписку Абеляра и Элоизы, иные стали грызть греческую грамматику, чтобы читать «Пир» Платона.

Все чаще устраивались экстраординарные доклады Тептелкина.

– Расцвет, расцвет, – волновался он и как дирижер носился по городу.

То он с кем-нибудь читал о любви и толковал о прегнантном обороте, то кстати разобрал Данте и, дойдя до середины пятой песни, до Паоло и Франчески, потрясенный, ходил по комнате, то комментировал прощание Гектора с Андромахой, то читал доклад о Вячеславе Иванове.

Год просуществовал университет в городке. Врангель был отогнан, и было получено распоряжение о том, чтобы в университете было не меньше десяти марксистов. В то время марксистов не оказалось, все они были заняты на фронте. И университет закрылся. Закрылись аудитории, помещавшиеся в лабазе, кончились торжественные заседания и экстраординарные доклады в актовом зале женской гимназии. Тщетно прекраснейший климат и южные степи звали Тептелкина остаться. Он, захватив свои пожитки, вернулся в Петербург.

Глава XIII. Осень

Все лето прожил Тептелкин в своей башне, в милой для него дворянской окрестности.

Поздней осенью, когда багряные листья стали кружиться в воздухе и шуршать под ногою, сложил свои книжки, единственное свое достояние, в брезентовый чемодан; обошел в последний раз приходящий в запустение английский парк, маленький, но сложный, как лабиринт. Прошел в соседний парк, посмотрел грустно на Еву, прикрывавшую рукой лобок; между рукой и телом видны были черные прутья (шалость местной детворы), взглянул на Адама, продолжение спины Адама было запачкано нечистотами.

Сел на скамейку. На этой скамейке несколько дней тому назад он сидел с Мусей Далматовой, но не говорил о любви, а говорил о том, что хорошо жить вдвоем, что он больше не боится женщин. Он вспомнил золотые слова Марьи Петровны в ответ:

– Жена как мать должна относиться к своему мужу.

Ведь Тептелкину нужна была мама, которая любила бы его и ласкала, целовала бы в лоб и называла своим ненаглядным мальчиком.

– Боже мой, как прекрасен парк, как прекрасен... – прошептал Тептелкин, вставая со скамейки.

И хотя он не был дворянин, ему стало жаль дворян, разрушенных усадеб, коров с кличками Ариадна, Диана или Амальхен, Гретхен; всех многочисленных родственниц и приживалок, вечно зябнувших в серых, коричневых или черных платках, самоваров, варений, альбомов, пасьянсов, раскладываемых дрожащею рукой.

«Разве теперь, – думал он, – когда это все отошло, не трогательны розовые сады, где-нибудь в Харьковской губернии. Подростки женского пола, читающие только Пушкина, Гоголя и Лермонтова и мечтающие о спасении Демона; и не ужасна ли жизнь этих бывших подростков теперь, когда прежний быт, для которого они были созданы, кончился? Не обступает ли их теперь ужаснейшее отчаяние?»

Глава XIV. После башни

Снова для Тептелкина наступила пора занятий в городских библиотеках, чтения писем и сочинений маленьких сотрудников гуманистов, скромных солдат армии, предводителями которой были Петрарка и Боккаччио. Видел он Петрарку бродящим вместе с Филиппом де Кабассолем по окрестностям Воклюза, занятых разговорами о научных, религиозных вопросах и проводящих целые ночи за книгами, и появлялся Клемент VI, награждающий за латинские стихи пребендой, или Henry Etienne, знаменитый издатель, или Etienne Dolet который полагал, что Господь послал его в мир, чтобы извлечь французский язык из варварства.

Затем он с грустью читал отчеты о спорах. Он чувствовал, что при крайнем упадке гуманитарных наук и при крайней скудости в хороших книгах возможна только пустая болтовня, а не ученый спор.

Иногда он перелистывал новые книги. Его поражала форма изложения.

«Современники, – думал он, – отличаются невозможной формой изложения, полным отсутствием духа критики, крайним невежеством и чрезвычайной наглостью».

Стали приходить к Тептелкину Аким Акимовичи. На ухо сообщали сведения о его друзьях. Один живет со своей матушкой и занимается оккультизмом; другой – к песикам неравнодушен; третий бывший наркоман, и прозрения его в высшей степени подозрительны. Четвертый подхалимствует в чуждых сферах.

Смеялся Тептелкин.

– Мои друзья – избранники, никогда клевете не поверю. Нет ничего выше дружбы.

Но он стал замечать, что молодой человек, увлекающийся радио, действительно как-то слишком страстно целуется со своей матушкой. Сидят, сидят и вдруг язык с языком соединяется, и напряжение языков у них до того сильно, что оба они, и сын и мать, от натуги краснеют. И действительно заметил, что другой его знакомый с непочтенными людьми на «ты» и при встречах с ними виляет задом. А третий часто неестественно нервен. Но все же убеждал сам себя Тептелкин, что все это пустяки, дружба выше всего на свете. И тут произносилась цитата из Цицерона.

Неизвестный поэт поджидал Костю Ротикова в Екатерининском сквере.

Постоял.

Прошелся по саду.

На одной скамейке заметил Мишу Котикова с актрисой Б. Сидит и что-то на ухо нежно шепчет и уголком рта, заметив неизвестного поэта, нехорошо улыбается.

«Все биографические сведения о Заэвфратском собирает», – повернулся неизвестный поэт спиной и пошел к калитке.

Купил газету.

Сел на скамейку.

Почитал.

Опустил газету.

Затем вспомнил философа с пушистыми усами и мысленно преклонился перед его стойкостью; в прежние времена этого философа ждала бы великолепная кафедра. Почтительную молодежь было бы не оторвать от его книг. Но теперь нет ни кафедры, ни книг, ни почтительной молодежи.

Зевнул.

Лениво подумал: «Это ересь, что с победой христианства исчезли сильные, языческие поэты и философы. Они нигде не встречали понимания, самого примитивного понимания, и должны были погибнуть. Какое одиночество испытывали последние философы, какое одиночество...»

Он заметил Марью Петровну Далматову на скамейке.

Встал. Подошел.

– Что делаете вы тут? – спросил он.

– Вашу книгу читаю, – улыбаясь, ответила Муся.

– Вы лучше Троицына почитайте. Для девушек это полезнее. Охота вам читать такой сухой вздор.

«Я разучиваюсь говорить, – подумал он, – совсем разучиваюсь».

И вдруг грустно, грустно посмотрел вокруг.

Глава XV. Свои

Совсем глубокой осенью, после того как Тептелкин покинул башню и переехал обратно в город, неизвестный поэт вошел в его комнату.

Тептелкин, как всегда в часы занятий, сидел в китайском халате, на голове его возвышалась тибетейка.

– Я изучаю санскрит, – сказал он. – Мне необходимо проникнуть в восточную мудрость; я вам сообщу совершенно по секрету, я пишу книгу «Иерархия смыслов».

– Да, – опираясь подбородком на палку, засмеялся неизвестный поэт. – Дело в том, что современность вас осмеет.

– Какие вы глупости говорите, – вскричал, раздражаясь, Тептелкин. – Меня осмеют! Все меня любят и уважают!

Неизвестный поэт поморщился и забарабанил пальцами по стеклу.

– Для современности, – повернул он голову, – это только забава.

– Возьмем Троицына. Можно спорить об его величине, но все же он поэт настоящий.

– Я слышал, как Троицын собирает поэтические предметы, – смотря на затылок неизвестного поэта, заметил Тептелкин.

– Что ж, это от великой любви к поэзии. Для посторонних великая любовь часто бывает смешна.

– А Михаил Александрович Котиков? – задумавшись, спросил Тептелкин.

От Тептелкина неизвестный поэт пошел по полученному утром приглашению.

Сидели на железных неокрашенных кроватях безумные юноши. Один поблескивал пенсне, другой пел птичьим голосом свое стихотворение. Третий, ударяя в такт ногой, выслушивал свой пульс. Посредине сидела их общая жена – педагогичка второго курса. На голой стене комнаты отражалось окно с цветком.

Неизвестный поэт вошел.

– Мы хотим поговорить с вами о поэзии. Мы считаем вас своим, – прервали они свои занятия.

– Даша, брысь со стула, – сказал человек в пенсне. Педагогичка повернулась и хлопнулась на постель.

– Гомперцкий, – протянул руку человек в пенсне, – изгнан из университета за академическую неуспешность.

– Ломаненко, сельскохозяйственник, – пропел птичьим голосом второй.

– Стокин, будущий оскопитель животных, – представился третий.

– Иволгина, – протянула руку педагогичка и поцарапала пальцем по ладони неизвестного поэта.

– Даша, смастери чай, – пробасил будущий фельдшер в сторону.

– Я слушать хочу, – скривив голову набок, засмеялась Даша.

– Говорят тебе! – истерическим голосом провизжал человек в пенсне, сделал пируэт и грациозно шлепнул ее носком сапога ниже спины.

Педагогичка скрылась.

«Попался, – повернулся к окну неизвестный поэт. – Здесь нельзя говорить о сродстве поэзии с опьянением, – думал он, – они ничего не поймут, если я стану говорить о необходимости заново образовать мир словом, о нисхождении во ад бессмыслицы, во ад диких и шумов и визгов, для нахождения новой мелодии мира. Они не поймут, что поэт должен быть, во что бы то ни стало, Орфеем и спуститься во ад, хотя бы искусственный, зачаровать его и вернуться

с Эвридикой – искусством, и что, как Орфей, он обречен обернуться и увидеть, как милый призрак исчезает. Неразумны те, кто думает, что без нисхождения во ад возможно искусство.

Средство изолировать себя и спуститься во ад: алкоголь, любовь, сумасшествие...»

И мгновенно перед ним понеслись страшные гостиницы, где он, со стаей полоумных бродяг, медленно подымался по бесконечным лестницам, освещенным ночным, уменьшенным светом. Ночи под покачивание матрасов, на которых матросы, воры и бывшие офицеры, и женские ноги то под ними, то на них. Затем прояснились закованные, испуганные улицы вокруг гостиницы. И бежит он снова, шесть лет тому назад, с опасностью для жизни, по снежному покрову Невы, ибо должен наблюдать ад, и видит он, как ночью выводят когорты совершенно белых людей.

Еще на западе земное солнце светит... —

скажет потом одна поэтесса, но он твердо знает, что никогда старое солнце не засветит, что дважды невозможно войти в один и тот же поток, что начинается новый круг над двухтысячелетним кругом, он бежит все глубже и глубже в старый, двухтысячелетний круг. Он пробегает последний век гуманизма и дилетантизма, век пасторалей и Трианона, век философии и критицизма и по итальянским садам, среди фейерверков и сладостных латино-итальянских панегириков, вбегает во дворец Лоренцо Великолепного. Его приветствуют там, как приветствуют давно отсутствовавших любимых друзей.

– Как ваши занятия там, наверху? – спрашивают его.

Он молчит, бледнеет и исчезает. И уже видит себя стоящим в рваных сапогах, нечесаным и безумным перед туманным высоким трибуналом.

«Страшный суд», – думает он.

– Что делал ты там, на земле? – поднимается Данте. – Не обижал ли ты вдов и сирот?

– Я не обижал, но я породил автора, – отвечает он тихим голосом, – я растлил его душу и заменил смехом.

– Не моим ли смехом, – подымается Гоголь, – сквозь слезы?

– Не твоим смехом, – еще тише, опустив глаза, отвечает неизвестный поэт.

– Может быть, моим смехом? – подымается Ювенал.

– Увы, не твоим смехом. Я позволил автору погрузить в море жизни нас и над нами посмеяться.

И качает головой Гораций и что-то шепчет на ухо Персию. И все становятся серьезными и страшно печальными.

– А очень мучились вы?

– Очень мучились, – отвечает неизвестный поэт.

– И ты позволил автору посмеяться над вами?

– Нет тебе места среди нас, несмотря на все твое искусство, – поднимается Дант.

Падают неизвестный поэт. Подымают его привратники и бросают в ужасный город. Как тихо идет он по улице! Нечего делать ему больше в мире. Садится за столик в ночном кафе. Подымается Тептелкин по лесенке, подходит.

– Не стоит горевать, – говорит он. – Мы все несчастны в этом мире. Ведь я тоже думал донести огонек возрождения, а ведь вот что получается.

Снова неизвестный поэт в комнате.

– Вы стремитесь к бессмысленному искусству. Искусство требует обратного. Оно требует осмысления бессмыслицы. Человек со всех сторон окружен бессмыслицей. Вы написали некое сочетание слов, бессмысленный набор слов, упорядоченный ритмовкой, вы должны вглядеться, вчувствоваться в этот набор слов; не проскользнуло ли в нем новое сознание мира,

новая форма окружающего, ибо каждая эпоха обладает ей одной свойственной формой или сознанием окружающего.

– На примере, конкретно! – закричали присутствующие. «Надо попроще, – подумал он, – надо попроще».

– Окна комодов, деревья садов... что это значит? – спросил он.

– Ничего, – закричали с постелей, – это бессмыслица!

– Нет, – ощупывая листки в кармане, сказал он. – Всмотритесь в комод.

– У комодов нет окон, – закричали с постелей, – у домов – окна!

– Хорошо, – улыбнулся неизвестный поэт. – Значит, дома – комоды. А что в садах деревья – согласны?

– Согласны, – ответили присутствующие.

– Получается: в домах-комодах живут люди, подобно тому как деревья растут в садах.

– Не понимаем! – закричали присутствующие.

– Вот импровизация!

– Вот что значит, – сказал неизвестный поэт, – окна комодов, деревья садов.

– Вот штука-то, – процедили люди на постелях, когда неизвестный поэт исчез.

– Дашка, чай не нужен.

– А, сволочь, какие стихи пишет, – хмурился человек в пенсне. – Заумные и вместе с тем незаумные. Поди его разбери.

Гомперцкий пошел на кухню, сел на окно и обратился к Даше:

– Яичницу поставь. – Стал барабанить пальцами по стеклу. – Я человек интеллигентный, неврастеник, ты меня больше чем, – он указал на дверь, – любить должна. Я учился, я рафинированный субъект, а они что – темнота. Ой, тру-ла-ла, ой, тру-ла-ла... – запел он.

– А ведь, в общем, мы твой гарем, Дашка; ты у нас – падишах. – Он подошел к ней.

– Эх, отстань, – оттолкнула она его, – яичница пригорит.

Глава XVI. Вечер старинной музыки

Переехав с дачи в город, снова Тептелкин давал бесплатные уроки египетского, греческого, латинского, итальянского, французского, испанского, португальского языков; надо было поддержать падающую культуру.

Вот и сегодня, в этот ясный, осенний день, в своей комнате, на фоне семейных фотографий, сидел он над египетской сказкой о потерпевшем кораблекрушение. Разбирал иероглифы, выписывал слова на отдельные листки.

Себаид – поручение
Мер – начальник города
Нефер – прекрасный

И смотря в пространство, он слышал, как изображенные птицы поют, как проносятся разукрашенные лодки, как пальмы качаются. И вставал прекрасный образ Изиды, а затем последней царицы.

А во дворе, под окнами, пионеры играли в пятнашки, в жмурки, иные ковыряли в носу, как самые настоящие дети, и время от времени пели:

мы новый мир построим

или

поедем на моря

А по каналам, по рекам, перерезающим город, сидели в лодках совбарышни, а за ними ухажер в кожаной куртке играл на гармонике, или на балалайке, или на гитаре.

И при виде их такое уныние овладевало петербургскими безумцами, что они бесслезно плакали, поднимали плечи, сжимали пальцы.

А поэт Троицын, возвращаясь после виденного в свою каморку, ложился на постель, повертывался к стене и вздрагивал, как бы от холода.

А Екатерина Ивановна, в своей нетопленной комнате, ходила со свертком на руках! Боже мой, как ей хотелось иметь от Александра Петровича ребенка, и вспоминала, как Александр Петрович подымался вместе с ней по уставленной зеркалами и кадками с деревьями лестнице и делал ей предложение и она ввела его в свою розовую, совсем розовую комнату. Как он читал ей стихи до глубокой ночи и как они потом сидели в светлой столовой. Вспомнила – скатерть была цветная и салфеточки были цветные. И отца вспомнила, видного чиновника одного из министерств. И мать, затянутую и натянутую. И лакея Григория в новой тужурке и белых перчатках.

И Ковалев при виде лодок вдруг старел душой и с ужасом вокруг осматривался и чувствовал, что время бежит, бежит, а он все еще не начал жить, и в нем что-то начинало кричать, что он больше не корнет, что он никогда не сядет на лошадь, не будет ездить по круговой верховой дорожке в Летнем саду, не будет отдавать честь, не будет раскланиваться с нарядными барышнями.

Тептелкин выписал кучу слов. Справился в египетской, на немецком языке, грамматике, разобрался во временах.

Все было готово, а ученик не приходил. Прошел час, другой. Тептелкин подошел к стене.

«Скоро шесть часов. Еще не скоро придет Марья Петровна. Сегодня мы пойдем к Конstantину Петровичу Ротикову слушать старинную музыку», – подумал он с удовольствием.

Часы в комнате квартирной хозяйки пробили шесть часов, затем половину седьмого.

В комнате Сладкопевцевой сидели четыре ухажера, пили чай с блюдечек, блюдечки были все разные. Говорили о теории относительности, и, незаметно, то один под столом нажимал на ножку Сладкопевцевой, то другой. Иногда падала ложка или подымался с пола платок – и рука схватывала коленку Евдокии Ивановны.

Это были ученики Сладкопевцевой, а ученики, как известно, любят поухаживать за учительницей. Пробило семь часов.

Евдокия Ивановна села за пианино. Чибирячкин, самый широкий, самый высокий, сел рядом и стал чистить огромные ногти спичкой.

– Когда эта шантрапа уйдет, – посмотрел он через плечо на своих товарищей, – кобеля проклятые!

Действительно, один кобель, длинный двадцативосьмилетний парень с рыжей бородой, плотоядно смотрел на затылок Евдокии Ивановны. Другой, маленький, в высоких сапогах, скользил взором по бедрам. Третий, толстый, с бритой головой, сидел в кресле.

А хозяйка, играя чувствительный романс, думала:

«Эх, эх, как девственник меня волнует!»

В восемь часов в комнату Тептелкина вошла Муся Далматова. Тептелкин снял тубейку, закутал шею рыжеватым пуховым кашне, застегнул пальто на все пуговицы.

– Меня знобит, – сказал он. Надел мягкую шляпу, взял палку с японскими обезьянами. Муся взяла его под руку, и они отправились.

– Ах, если б вы знали, – говорил Тептелкин по дороге, – как прекрасен египетский язык классического периода! Он не так труден; всего надо знать каких-нибудь шестьсот знаков. Вот только жаль, что полного словаря египетского языка еще нигде на свете не существует.

– А по происхождению к какой группе принадлежит египетский язык? – спросила Муся Далматова.

– К семито-хамитской, – ответил Тептелкин.

– А откуда возникли колонны? – спросила Муся.

– Из стремления к вечности, – задумавшись, ответил Тептелкин. – Фу ты, – спохватился он, – прототипом колонн являются стволы деревьев.

Перед домом, в одной из комнат которого жил Костя Ротиков, Муся сказала:

– В одном из музеев я видела удивительные египетские украшения: кольца из ляпис-лазури.

Они прошли во двор, довольно смрадный. Кошки, при виде их, выглянули из открытой помойной ямы, выскочили и побежали одна за другой. Одна кошка, рыжая, перебежала дорогу.

Тептелкин почувствовал нечто нехорошее под ногой. Перед входом он долго вытирал ногу о пахучую ромашку, растущую кустами то тут, то там.

Поднялись по ступенькам, с выбоинами. Постояли. Постучали.

Дверь открыла жилища, тридцатипятилетняя рыжая девушка, с папироской во рту, в синем платке с розами, мечтающая о ночном городе восьмых, десятых годов. Она всю жизнь о нем мечтать будет, и старушкой седенькой.

– К вам пришли, – сказала она, открывая дверь в комнату Кости Ротикова.

На диване сидели Костя Ротиков и неизвестный поэт по-турецки и пили из маленьких чашечек турецкий кофе. Одна стена доверху была увешана и уставлена безвкусицей. Всякие копилки в виде кукишей, пепельницы, пресс-папье в виде руки, скользящей по женской груди, всякие коробочки с «телодвижениями», всякие картинки в золотых рамках, на всякий случай завешанные малиновым бархатом. Книжки XVIII века, трактующие о соответствующих предметах и положениях, снабженные гравюрами.

Стена напротив дивана увешана и уставлена была причудливейшими произведениями барокко: табакерками, часами, гравюрами, сочинениями Гонгоры и Марино в пергаментных,

в марокеновых зеленых и красных переплетах, а на великолепном раскоряченном столике лежали сонеты Шекспира.

– По всей Европе, – продолжал беседу Костя Ротиков, – появляется сейчас интерес к барокко, к этому вполне, как вы сказали, законченному в своей незаконченности, пышному и несколько безумному в себе самом стилю.

И они склонились над портретом Гонгоры.

– Каждое слово у Гонгоры многозначно, – поднял голову поэт, – оно употреблено у него и в одном плане, и в другом, и в третьем. Каждая косточка у Гонгоры – поэма Данта в миниатюре. А какой отчаяннейший и кричащий артистизм, старающийся скрыть душевное беспокойство; а эти щеки и шея возлюбленной, которые были некогда, в золотом веке, настоящими, живыми цветами – розами и лилиями. Для того чтобы понимать Гон-гору, надо быть человеком с соответствующей устремленностью, с соответствующим эллинистическим складом ума, это сейчас ясно, но этого еще недавно не понимали.

Неизвестный поэт откинулся к стене. В это-то время и вошли в комнату Муся Далматова и Тептелкин.

– Как у вас уютно, – сказал Тептелкин, не замечая кукишей над головами друзей. – И сидите вы по-турецки, и пьете кофе турецкий. Но здесь накурено, разрешите, я открою окно. – Он подошел. Открыл форточку. – А то у Марьи Петровны голова заболит.

– Давно вы нас ждете? – спросил он.

– Мы со вчерашнего вечера сидим здесь над испанскими, английскими, итальянскими поэтами, – ответил Костя Ротиков, – и обмениваемся мыслями.

– А Аглая Николаевна пришла? – спросил Тептелкин.

– Мы ее с минуты на минуту ждем, – ответил Костя Ротиков.

Раздался стук в парадную. Костя Ротиков выскочил в переднюю. Через минуту вошла худая и извивающаяся как змея Аглая Николаевна. На плечах у нее лежал голубой песец. На груди сверкал большой изумруд, а в ушах ничего не было. Рядом с ней извивался Костя Ротиков, а с другой стороны прыгала собачка.

– Вечер старинной музыки состоится, – произнес на ухо Марье Петровне Далматовой Тептелкин.

Все прошли в соседнюю комнату.

Там уже сидели глухие старушки и старички с баками и с бородками, прыгающие барышни, пожилые молодые люди, картавящие, как в дни своей юности. По стенам висели портреты в круглых золотых рамах. Рояль раскрыт, задрожали клавиши и струны.

Аглая Николаевна раскланивалась. Поднесли цветы – розы белые. Она нюхала, раскланивалась, улыбалась. Худенькие ручки старушек и старичков хлопали.

– Она совсем не изменилась за эти годы, – шептали они друг другу на ухо, – наша любимая Аглая Николаевна.

– Она была в 191... г. любовницей N, – шептал пожилой молодой человек другому пожилому молодому человеку.

– У нее удивительная собачка, – шептала одна прыгающая барышня другой прыгающей барышне.

Аглая Николаевна села.

Опять поднимались руки, опять опускались клавиши, опять как бабочка билась чистая музыка.

Две барышни поднесли лилии.

– Ах, Аглая Николаевна, – говорил Костя Ротиков, – вы сегодня нам доставили чистое наслаждение.

Столовая была залита светом. Уцелевшие фарфоровые с пейзажами и портретами тарелки императорского завода по стенам лучились позолотой. На столе вина в бутылках, водка

в графинах, рюмки искрились. А вокруг нечто розовое, нечто красное, нечто белое, нечто голубое. Все было.

Но старички и пожилые молодые люди почувствовали, что это лишь копия, что настоящее умерло, что это как бы воспоминание, всегда менее яркое, чем действительность. Им вдруг стало тоскливо, тоскливо... Кроме того, они заметили, что для устройства этого вечера исчезли (были проданы) некоторые предметы из столовой.

– Принесите мою сумочку, – шепнула Муся Далматова на ухо Тептелкину, – она в комнате Константина Петровича.

Луна освещала комнату Константина Петровича. Ветер приподнимал бархат, прикрывавший некоторые изображения. И тут Тептелкин увидел то, чего видеть ему не надо было.

Он сжал сумочку в руках, открыл рот и сел.

«Что же это? – подумал он. – Что же это! Человек с таким тонким вкусом и вдруг...» Над ним то прикрывались бархатом, то вновь показывались десятки голых тел мужских и женских, во всевозможных положениях.

Он почувствовал, что в доме не все благополучно.

– Змеи, – вскричал он, – змеи! – и бросился вон из комнаты.

И за столом ему казалось, что наклоняются, откидываются, хохочут, говорят, склоняются, подносят вилки ко рту, с разноцветной едой, змеи с зелеными ручками и что только он и Марья Петровна живые.

Особенно его поразил неизвестный поэт. Он заметил, что поэт совершенно бел, что у него глаза зеленоватые, он уже совсем не молодой человек.

– Ешьте, ешьте, – бегали тетюшки Кости Ротикова вокруг стола, – ешьте, ешьте.

И не хрусталь, а капельки света над головами – люстры были хрустальные.

Глава XVII. Путешествие с Асфоделиевым

Червонным золотом горели отдельные листочки на черных ветвях городских деревьев, и вдруг неожиданное тепло разлилось по городу под прозрачным голубым небом. В этом неожиданном возвращении лета мне кажется, что мои герои мнят себя частью некоего Филострата, осыпающегося вместе с последними осенними листьями, падающего вместе с домами на набережную, разрушающегося вместе с прежними людьми.

– Многим из нас мерещится прекрасный юноша, – произнес неизвестный поэт.

– Наконец-то я поймал вас. Все вы извращены, – раздался смех, – поэтому вас красивый мальчишка преследует.

Собутыльник неизвестного поэта повернул голову на бычьей шее, хлопнул круглой ладонью по коленку, улыбнулся полным лицом, поправил пенсне.

– Выпьем! – вскричал он. – Я только женщин люблю. Ни воображаемые, ни настоящие мальчишки меня не интересуют. А у женщин ручки-подушечки... Всю женщину я обсмаковать рад с макушки до пяточек.

– Вы, кажется, поэзией больше не занимаетесь? – спросил неизвестный поэт.

– Я теперь к одному издательству пристроился. Для детей программные сказки пишу, – ответил добродушный толстяк, поправляя пенсне. – Дураки за это деньги платят. Еще статейки в журналах под псевдонимом пописываю, – смакуя каждое слово, продолжал Асфоделиев. – Хвалю пролетлитературу, пишу, что ее расцвет не только будет, но уже есть. За это тоже деньги платят. Я теперь со всей пролетарской литературой на «ты», присяжным критиком считаюсь. Товарищ, еще бутылочку, – поймал он официанта за передник.

Тот лениво пошел за пивом.

– Вот бы сейчас на поплавок прокатиться... – умильно посмотрел в окно Асфоделиев. Вышли.

Извозчик ехал шагом по Троицкой.

– Отчего вы критических статей не пишете? – спросил Асфоделиев. – Ведь это так легко.

– По глупости, – ответил неизвестный поэт, – и по лени. Я ленив, идейно ленив и принципиально непрактичен.

– Барские замашки, – усмехнулся Асфоделиев. – Барские замашки в наше время бросить надо. Да вы все идиоты какие-то! – рассердился он. – Воли у вас к жизни совсем нет. Не хотите постоять за современность, не хотите деньги получать.

Неизвестный поэт положил руки на аметист:

– Ничего вы, мой друг, не понимаете, ползающее вы животное.

– Это я ползаю! – раздражился Асфоделиев. – Это вы на мои деньги напиваетесь и чушь городите! Жестокий вы человек, как не стыдно вам ругать меня.

Асфоделиев поднял плечи, стал вбирать воздух.

– Скука, пойду смотреть «Лебединое озеро». – Поднялся неизвестный поэт, быстро простился с Асфоделиевым, хотел прыгнуть с подножки.

– Куда вы? – спросил Асфоделиев.

– В Академический театр оперы и балета, – ответил неизвестный поэт.

– Извозчик, к Мариинскому театру! – поднялась туша в пенсне, снова села, обняла неизвестного поэта.

Извозчик направился по улице Росси.

– И я предан был стихам, – плакался Асфоделиев. – Я, может быть, более всех на свете люблю стихи, но нет во мне таланта. – Он прижал неизвестного поэта к груди. Помолчали.

– Не понимаете вы в моих стихах ничего, и никто ничего не понимает! – усмехнулся неизвестный поэт.

– Что ж, вы нечто заумное? – удивился Асфоделиев.

– Заумье бывает разное, – ответил неизвестный поэт. – Я поведу вас как-нибудь к настоящим заумникам. Вы увидите, как они из-под колпачков слов новый смысл вытягивают.

– Это не те ли зеленые юноши в парчовых колпачках с кисточками, носящие странные фамилии? – удивился Асфоделиев.

– Поэзия – это особое занятие, – ответил неизвестный поэт. – Страшное зрелище и опасное, возьмешь несколько слов, необыкновенно сопоставишь и начнешь над ними ночь сидеть, другую, третью, все над сопоставленными словами думаешь. И замечаешь: протягивается рука смысла из-под одного слова и пожимает руку, появившуюся из-под другого слова, и третье слово руку подает, и поглощает тебя совершенно новый мир, раскрывающийся за словами.

И еще долго говорил неизвестный поэт. Но извозчик уже подъезжал к Академическому театру. Неизвестный поэт выскочил из коляски, за ним поднялась туша в пенсне и расплатилась с извозчиком.

В кармане у неизвестного поэта были: куча недописанных стихотворений, необыкновенный карандаш в бархатном мешочке и монетка с головой Гелиоса, какая-то старинная книжка в пергаментном переплете, кусок пожелтевших брюссельских кружев.

В ложе, почти против сцены, сидел Кандадыкин с Наташей Голубец и с компанией. Неизвестный поэт надел очки и с достоинством поклонился, посмотрел направо: в одном ряду с ним сидел Ротиков, немного далее – Котилов, в первом ряду – Тептелкин и философ с пушистыми усами.

«Сегодня весь наш синклит собрался, – подумал он, – профсоюзный день, все мы достали бесплатные билеты от наших почитателей и знакомых».

Оркестр лениво заиграл, лениво поднялся занавес, лениво прошел первый акт.

В антракте Тептелкин трижды яростно прошелся мимо Константина Петровича Ротикова.

– Выродок, тоже ценитель искусства!

Глазки Кости Ротикова освещали румяные щеки, и крохотные жемчужные зубки смеялись.

Костя Ротиков поднялся и подошел к Тептелкину. Тептелкин, не смотря, поздоровался и прошел мимо.

В фойе Тептелкин заметил философа и неизвестного поэта, мирно беседующих на звезде паркета.

Неизвестный поэт посмотрел на Тептелкина, но Тептелкин прошел, будто бы его не заметил.

Глава XVIII. Тептелкину кажется, что за ним гонятся его друзья

Уже деревья не сохранили ни одного листка. Уже луна покрывала ложным снегом известняковые, асфальтовые панели, мостовые из досок, из восьмиугольных и четырехугольных деревянных шашек, из круглых и продолговатых черно-серых камней. Уже свет ее превращал в эфирные – тяжелые двухсотлетние здания с колоннами, с портиками, с фронтонами, с фризами. Уже во мраке вечеров, под прикрепленными к вывескам желтыми лампочками магазинов, ласкаясь или ругаясь, проплывали приапические пары, тройки и четверки по панели. Уже давно открылись зимние театры и дивертисментные театрики, и в клубах, и библиотеках, и школах привычно и неторопливо готовились к годовщине, уже полные и худые владельцы частных магазинов давно привыкли выставлять портреты вождей и украшать их посильно, уже торжество носило общенародный и непринужденный характер.

Но мои герои пытались по-прежнему усидеть в высокой башне гуманизма и оттуда созерцать и понимать эпоху. Правда, они уже не чувствовали себя героями, правда, постепенно чувство долга превращалось у них в привычку. Правда, уже давно кончились предвещения неизвестного поэта и уже Тептелкин все реже и все бесплоднее говорил о поддержке культуры. И философ все реже говорил о философии и все громче о своей юности; он больше не писал книг, ведь им все равно не суждено было появиться.

Наконец пошел настоящий снег белыми хлопьями.

Неизвестный поэт стоял с Костей Ротиковым во дворе строгановского особняка, смотрел на синий снег, слушал жужжание проводов, доносившееся с улицы.

– А, вот вы где, змеи! – ехидно прошипел Тептелкин, появляясь в воротах.

– Что с ним? – удивленно спросил Костя Ротиков, – на что он так разозлился?

Тептелкин выскочил из-под ворот и побежал, длинный, худой, рысцой, отталкиваясь от перил, по набережной Мойки.

«Что со мной? – думал он. – Что со мной?»

И спиной почувствовал, что за ним бегут друзья и пританцовывают, и притоптывают, и ручками машут, и издеваются.

«Что со всеми нами?» – прослезился он и нос к носу столкнулся с Марьей Петровной Далматовой. Мария Петровна шла в сиянии, в окружении снежных звезд, в Гостиный двор покупать туфельки. Тептелкин успокоился и пошел с ней в Гостиный двор туфельки выбирать.

– Идемте скорее, – заторопилась Муся, – скоро пять часов, скоро магазины закроют.

Гостиный двор был ярко освещен. Под аркадами из магазина в магазин Тептелкин за Марьей Петровной. Он видел высокую Петергофскую башню, видел себя, ждущего с цветами друзей. Как все было ясно тогда, как все было прекрасно! Какие мы были светлые!

Тру-ру, тру-ру.

– Ах, эти туфельки совсем не те, – стонала Марья Петровна. Тру-ру, тру-ру, из магазина в магазин бегал за ней Тептелкин, как за звездой своей.

Отстал на секунду и видит: движется, шатается неизвестный поэт навстречу.

– Вы увидите, – поднял голову неизвестный поэт, – как живет лицо, создающее нас.

Глава XIX. Междусловие

Я проснулся в комнате, выходящей ротондой на улицу. Тихо здесь, только по вечерам черт знает что происходит. То вынырнет из темноты какой-нибудь философствующий управдом с багровым носом, то пробежит похожая на волка собака, влача за собой человека. То двое прохожих, с поднятыми воротниками, остановятся у фонаря и, шатаясь, друг у друга прикурят. То вдруг благой мат осветит окрестность. То человек заснет у лестницы на собственной блевотине, как на ковре. А какой город был, какой чистый, какой праздничный! Почти не было людей. Колонны одами взлетали к стадам облаков, везде пахло травой и мятой. Во дворах щипали траву козы, бегали кролики, пели петухи.

Глава XX. Появление фигуры

Вот я и закутался в китайский халат. Вот рассматриваю коллекцию безвкусицы. Вот держу палку с аметистом.

Как долго тянется время! Еще книжные лавки закрыты. Может быть, пока заняться нумизматикой или почитать трактат о связи опьянения с поэзией.

Завтра я приглашу моих героев на ужин. Я угощу их вином, зарытым в семнадцатом году мною во дворе под большой липой.

И снова я засыпаю, и во сне мне является неизвестный поэт, показывает на свою книжку, которую я держу в руках.

– Никто не подозревает, что эта книга возникла из сопоставления слов. Это не противоречит тому, что в детстве перед каждым художником нечто носится. Это основная антиномия (противоречие). Художнику нечто задано вне языка, но он, раскидывая слова и сопоставляя их, создает, а затем познает свою душу. Таким образом в юности моей, сопоставляя слова, я познал вселенную и целый мир возник для меня в языке и поднялся от языка. И оказалось, что этот поднявшийся от языка мир совпал удивительным образом с действительностью. Но пора, пора...

И я просыпаюсь. Сейчас уже одиннадцать часов. Книжные лавки открыты, из районных библиотек туда свезли книги. Может быть, мне попадется Дант в одном из первых изданий или хотя бы энциклопедический словарь Бейля...

– Милости просим, милости просим, – запел книжник. – Вас уже три дня не было видно. Вот у нас книги для вас; не угодно ли – по лесенке.

– А эти шагающие римляне, рассуждающие греки, воркующие итальянцы? Нет ли у вас случайно Филострата «Жизнь Аполлона Тианского»?

– Выбирайте, выбирайте.

– А не дорого?

– Дешево, совсем дешево.

– А где у вас археология?

– Направо по лесенке. Позвольте, подставлю.

– У вас прекрасные экземпляры.

– Заботимся, заботимся, чтоб угодить покупателям.

– А давно у вас не был Тептелкин? высокого роста, почти прозрачный, с палкой японской.

– Как же, как же, знаю. Не заходил давно.

– А дама в шляпе с перьями?

– Вчера после обеда была.

– А высокий молодой человек?

– Интересующийся рисунками? третьего дня был.

– А не спрашивал ли молодой человек с голубыми глазами, со вздернутым носиком, книжек Заэвфратского?

Ночь. Внизу бело-синие снега,верху звездно-синее небо.

Вино в бутылках я расставил на столе.

Первый пришел Тептелкин, пошел осматривать мои книги.

– Все мы любим книги, – сказал он тихо. – Филологическое образование и интересы – это то, что нас отличает от новых людей.

Я пригласил моего героя сесть.

Через час все мои герои собрались, и мы сели за стол.

– Знаете, – обратился я к неизвестному поэту, – я за вами и за Тептелкиным как-то следил ночью.

– Вы за нами всегда духовно следите, – прервал он и посмотрел на меня.

– Мы в Риме, – начал он. – Несомненно в Риме и в опьянении, я это чувствовал, и слова мне по ночам это говорят.

Он поднял апуллийский ритон.

– За Юлию Домну! – наклонил он голову и, стоя, выпил.

Ротиков элегантно поднялся:

– За утонченное искусство! Котиков подпрыгнул:

– За литературную науку!

Троицын прослезился:

– За милую Францию!

Тептелкин поднял кубок времен Возрождения. Все смолкло.

– Пью за гибель XV века, – прохрипел он, растопырил пальцы и выронил кубок.

Я роздал моим героям гравюры Пиранези. Все погрузились в скорбь. Только Екатерина Ивановна не понимала.

– Что вы такие печальные, – вскрикивала она, – что вы такие невеселые!

Печь сверкала, выбрасывала искры. Я и мои герои сидели на ковре перед ней полукругом. Ротиков встал.

– Начнемте круговую новеллу, – предложил он.

Я поднялся, зажег свечу.

– Начните, – сказал я.

– Меня с детства поражала, – сев в кресло, начал он, – безвкусица. Я уверен, что она имеет свои законы, свой стиль. Однажды мне сообщили, что одна бывшая тайная советница продает обстановку своей комнаты. Я поспешил. Вообразите бывшую курительную комнату в чиновничьем доме, турецкий диван, целый набор пепельниц, в виде раковин, ладоней, листочков, то на высоких, то на низких столиках, пуфы, неизвестно для чего оставшийся письменный стол. Стены, украшенные изображениями актрис парижских театров легкого жанра. Поклонившись, я вошел. На диване очаровательное создание пело и играло на гитаре. Его пышные синева-тые прошлого века юбки, обшитые золотыми пчелами, его ноги в тупых атласных туфельках! «Вы удивительная тайная советница», – сказал я поклонившись. «О нет, – засмеялось оно, – я юноша!» И указало мне глазами на пуф рядом с диваном. «Вам не холодно?» – спросило оно и, не дожидаясь ответа, закутало меня в кашемировую шаль.

Опустив голову, оно стало рассматривать книжку с говорящими цветами: «Время прелестной Нана, дамы с камелиями, отошло, – прервало оно молчание и расправило свои пышные волосы. – Вы пытаетесь, – сказало оно, – возродить то ушедшее, легкомысленное и беспечное время».

Неизвестный поэт сел в кресло:

– Оно все же было девушкой. Погруженное в снежную петербургскую ночь, оно провело свою раннюю юность на панели. Серебристые дома, лихачей, скрипачей в кафе и английскую военную песенку оно любило.

Неизвестный поэт улыбнулся, поднялся с кресла и подошел к огню.

Троицын сел в кресло, продолжал:

– Посмотрев на меня, оно раскрыло веер. Оно родилось недалеко от Киева в небольшом имении.

Троицын уступил место, Котиков важно сел в кресло:

– А по вечерам мать «оно» говорила о Париже, об Елисейских полях и о кабриолетах, и 16-ти лет оно убежало в Петербург с балетным артистом. Оно любило Петербург как северный Париж.

Тептелкин восторженно.

– Петербург – центр гуманизма, – прервал он рассказ с места.

– Он центр эллинизма, – перебил неизвестный поэт. Костя Ротиков перевернулся на ковре.

– Как интересно, – захлопала в ладоши Екатерина Ивановна, – какой получается фантастический рассказ!

Философ взял скрипку, сел в кресло и, вместо того чтобы продолжать рассказ, задумался на минуту. Затем встал, заиграл кафешантанный мотив, отбивая такт ногой.

Тептелкин, ужасаясь, раскрыл и без того огромные глаза свои и протянул руки к философу.

«Не надо, не надо», – казалось, говорили руки.

И вдруг выбежал из комнаты и уткнулся лицом в кровать мою.

А философ, не замечая происшедшего, уже играл чистую, прекрасную мелодию, и круглое, с пушистыми усами, лицо его было многозначительно и печально.

Я подошел к зеркалу. Свечи догорали. В зеркале видны были мои герои, сидящие полукругом, и соседняя комната, и стоящий в ней у окна Тептелкин, сморкающийся и смотрящий на нас.

Я поднял занавеси.

Наступило уже темное утро. Уже слышались фабричные гудки. И я вижу, как мои герои бледнеют и один за другим исчезают.

Глава XXI. Мучения

Вернувшись домой, Тептелкин открыл резную шкатулку, вынул статуэтку пятнадцатого века, поставил ее на сундучок; оказывается, сундучок служил постаментом.

– Избавь меня от искушения, дай мне силу видеть мир прекрасным, – склонил он голову, а когда он поднял лицо, показалось ему, что не Елены Ставругиной лицо у статуэтки, а Марьи Петровны Далматовой.

Всю ночь пробыл в задумчивости Тептелкин.

Уже кенарь пел в комнате Сладкопевцевой, уже Сладкопевцева, вернувшись с дружеской пирушки, искала воды попить. Уже шлепали ее туфли по комнатам, а Тептелкин все следил образ уходящего мира, когда он был юн, совершенно юн.

К утру гуманизм померк, и только образ Марии Петровны сиял и вел Тептелкина в дремучем лесу жизни.

К вечеру Тептелкин сидел у стола и испытывал некое мучение. Он вспомнил, что некоторые великие люди воздержались.

«Как же я, – думал Тептелкин, – поддамся соблазну и женюсь? А может быть, природа совсем не для того меня создала. Женюсь – и ослабеет моя память, исчезнут дивные и неясные грезы, исчезнут эти ясные утренние часы и спокойные ночи. Рядом со мной будет стареть женщина, и я замечу, что я старею. Да, трудный вопрос, – заходил Тептелкин по комнате. – А может быть, я не в силах буду жениться, может быть, я не мужчина. Может быть, тело у меня незрелое. Что ж, женюсь, а потом ужас...»

Ему стало страшно, он машинально открыл дверь, но никто не вошел.

Тептелкин налил холодного чаю, выпил залпом.

«А может быть, вся моя мужская сила в ум перешла. Как быть, как быть? – закрыл он дверь. – Жениться хочу, а, может быть, тело мое не хочет. Но некоторые очень поздно созревают. Может быть, и я созрею когда-нибудь».

Еще быстрее заходил Тептелкин в темноте по комнате.

Внизу, в разрушенном подвале, работники варили мыло. Сквозь щели пола пробивался едкий пар. На улице за закрытыми воротами дворник, на тумбе, читал «Тарзана», поднося книжку, к глазам.

И тут-то появилась в комнате Тептелкина необыкновенная двадцатитрехлетняя девушка – Марья Петровна Далматова; в соломенной шляпке, казалось, она срывала цветы с красного дощатого пола, протягивала их Тептелкину. Тептелкин склонялся, подносил их к носу, набожно целовал. Затем она начала плясать, и Тептелкин услышал необыкновенные голоса и увидел, что у ней в руках дрожит стебелек и наливается бутон, распускается голубой цветок.

– О, как развращен мой мозг, – заходил Тептелкин по комнате.

В это время дежурный дворник закончил читать «Тарзана», походил перед домом, снова сел на тумбу и задремал... Тептелкин появился в окне.

«Какие звезды, – подумал он. – И под таким звездным небом мне мерещатся такие гадости. Наверно, я самый скверный человек в мире».

Тептелкин вышел из дому. Окна домов изнутри освещены то резким, то сентиментальным, то безразличным светом. Тептелкин судорожно идет в своем осеннем пальто. В эту ночь испытает он, мужчина ли он или нет, и может ли он жениться, вступить в брак с Марьей Петровной Далматовой. Тептелкин идет, торопясь, от улицы Лассаля к Октябрьскому вокзалу. Иногда он посреди панели останавливается на мгновение, иногда обгоняет прохожих и делает то, что он никогда до сих пор не делал, – заглядывает под шляпки.

Он ищет самую уродливую, чтоб не могло быть и речи о любви. Он останавливается, ему предлагают услуги почти дети, с похабным выражением глаз, со скверной улыбочкой, с утрированными ребяческими движениями.

Он вырастает в землю перед ними, и они, источив свое красноречие, покрывают его словами и спешат вдаль. Иногда Тептелкина обгоняет существо на стоптанных каблуках, с отсутствием румян на щеках, с невообразимо желтым горностаем вокруг шеи и, стараясь сохранить ушедшее достоинство, шепчет:

– Первые ворота направо.

Наконец он видит то, что ему надо было. Из пивной, недалеко от Лиговки, выходит женщина – широкая, крепко костная, крупнозубая.

– Вы в Бога веруете? – обращается к ней Тептелкин.

– Конечно, верую! – женщина осеняет себя крестным знамением.

– Идемте, идемте, – энергично Тептелкин тащит ее вниз по Невскому.

– Меньше чем за три рубля не пойду! – угрюмо осматривая фигуру Тептелкина, заявляет она.

– Это все равно, это безразлично, – утверждает Тептелкин и тащит ее за рукав по Невскому.

– Куда ты тащишь меня? Я близко живу. А ты черт знает куда меня тащишь.

Останавливается женщина и выдергивает руку.

– Потом, потом, я пойду к вам, но сначала вы должны поклясться.

– Да что ты, пьян, что ли, какой клятвы тебе еще нужно?

И она с удивлением, почти с испугом уставилась в вибрирующее лицо Тептелкина.

– Все зависит от этой ночи, – не слыша, шептал Тептелкин. – Вся дальнейшая жизнь моя зависит от этой ночи! Жениться хочу, – стонало в Тептелкине. – Жениться! Испытание сегодня, на перекрестке я, на ужасном. Если я окажусь мужчиной, я женюсь на Марье Петровне, если нет – то евнухом, ужасным евнухом от науки буду!

– Да что ты шепчешь! – вскрикивает женщина. – Долго мы стоять на улице будем?

– Идемте, идемте, – заспешил Тептелкин, – идемте.

– Да ты, кажется, к собору меня ведешь? – раскрыла желтые глаза женщина.

Но Тептелкин уже тащил ее к стене, где мерцала икона.

– Поклянитесь, что вы не заражены, – остановился он перед иконой. – Поклянитесь! – провизжал он.

– Ах ты бес! – рассердилась женщина и, качая юбкой, скрылась в пролете.

Марья Петровна сидела в своей комнате с кисейными занавесками за столиком и гадала на картах. За окном была ночь, за спиной на стене карточка.

Вокруг стула, на котором сидела она, ходила кошка Золушка.

Марья Петровна кончила гадать и погрузилась в давно закрытую студию пения времен военного коммунизма. Не мечтала ли она стать великолепной певицей! Вот стоит она у рояля и поет, а там восторженная публика, двери ломаются от публики, стены раздвигаются от публики, подносят Марье Петровне конфеты, цветы и дорогие вещи. Задумалась, оперлась на локоть Марья Петровна и погрузилась в недавно оконченный университет с его аркадами, коридорами, с многочисленными аудиториями, с профессорами и студентами. Не мечтала ли она стать ученой женщиной, писать книги о литературе, говорить в кругу профессоров, внимательно слушающих?

Уже на улице пусто, и только милиционеры, аккуратно одетые, пересвистываются, а затем ходят по парам и беседуют.

Марья Петровна гадала на картах: кем она будет. Она видит Тептелкина, он стоит внизу, жалкий, озябший, смотрит на освещенное окно комнаты, где сидит она и гадала.

– Влюблен, конечно, влюблен! – Ей становится тепло и уютно.

Шелестят листья, летают летучие мыши, она и Тептелкин идут к морю, садятся на камне. Под серебряной луной, встав, она поет, как настоящая певица, приехавшая из-за границы на гастроли, а Тептелкин сидит и смотрит на море, слушает.

Она взглянула в окно: стоит ли Тептелкин? Стоит.

Кажется ей – ясное утро. Тептелкин сидит, работает, она стоит, гладит крахмальное белье для него. Взглянула Марья Петровна в окно: стоит ли Тептелкин? Стоит.

И показалось ей, что у него глаза жалобные.

«Но как же со свадьбой?» Вернувшись, он сел на постели глубокой ночью. Одеяло лежало на полу, седеющие волосы стояли дыбом. Стена мерцала от лунного блеска. Вся комната была пронизана луной. «Если я честный человек, то я должен жениться на Марье Петровне Далматовой. Ведь нельзя девушку целый год водить за нос».

Он встал в рубашке; рубашка была длиннее спереди, короче сзади. Достал свечку из комода, зажег и ждал, когда же она разгорится. Наконец свеча просияла звездой.

«Надо отвлечься», – подумал он. Закутался в одеяло, сел к столу, стал сличать Пушкина с Андре Шенье.

Toujours ce souvenir m'attendret et me touche¹⁴.

Читал он и невольно отвлекся от сличения: тихие деревья, покрытые желтыми, красноватыми листьями, рябили над его головой. Марья Петрович сидела внизу. Вдали колыхалось море, и пел ветер.

К утру мерещился Тептелкину сад тишайший. Солнце внутри церквей, монахи, сморкающиеся в руку, олеандры цветущие, нежное, розовое море, кашляющие, как чахоточные при пробуждении, колокола, виноградная лоза, еще покрытая росой, и чаёк на блюдечке, и хруканье валяющихся свиней за оградой. И казалось ему, что он верит в чертей и в искушение. Хотел бы он уйти отсюда, сесть на высокую, величественную гору и смотреть на весь мир и наслаждаться. И казалось ему, что его там обязательно обступят бесы, а он отвернется и отрицет – «не хочу, – скажет он, – идти с вами, не вашей я породы, всю жизнь с вами боролся». И разыграют и закричат ему бесы: «Эх ты, вечный юноша!» И еще увидел Тептелкин, будто впереди бесов выступал неизвестный поэт, а с ним рядом, по бокам, извивались – Костя Ротиков и Миша Котиков.

– Исчезните, проклятые! – вскочив, затопал Тептелкин: на столе кофе и хлеб с маслом, а у кровати стоит хозяйка.

– Во сне стонали вы, а утро-то какое! Действительно, над геранью, стоявшей на подоконнике, виднелось, ослепляющее прозрачностью, зимнее небо.

– Вы юноша, совсем юноша, – помолчав, вздохнула хозяйка. – Несмотря на то, что сидите. Сейчас, когда я уйду, должно быть, опять вскочите, достанете с полки книжку и начнете восторгаться.

И шмыгнула в дверь, прошуршав платьем, как змея хвостом.

¹⁴ Одно воспоминание меня всегда тревожит (фр.).

Глава XXII. Женитьба

Тептелкин шел по мерзлому тротуару. Прошел мимо ночного трактира. Услышал музыку.

«Наверно, там сейчас играют авлетриды». Он прошел мимо диктериад, довольно разнужданных, грузнотелых баб, ругающихся крылатыми словами. «Наречие притонов, – определил он, – интересно исследовать, откуда и как появилось это наречие».

Он унесся во Францию XIII века, когда создавалось аргю. Вокруг Тептелкина кружились и падали ругательства.

По ступенькам вбегал в мутную дверь и выбегал народ, обросший запахом сапог, папирос «Сафо» и вина. В стороне человек бил тонконогую диктериаду кулаками, стараясь попасть в рыло, в грудь или в другое чувствительное место. Диктериада отбивалась, кричала – «милиционер, милиционер!» – но милиционер показал спину и отошел осматривать свой участок.

Собралась улюлюкающая толпа. Слишком били, слишком шумели. Появились два конных милиционера на дрессированных лошадях. Врезались в толпу, и лошади начали танцевать, как в цирке, разгонять подвыпивших.

Тептелкин вошел в дом. Марья Петровна Далматова ждала его. Комнаты были прибраны, кисейные занавески белели. Старинный образ смотрел темными глазами. Тептелкин почувствовал трепет, входя в девичью комнату. Муся стояла. В первый раз заметил он, что у ней волосы пушистые, носик остренький, губы маленькие.

– Я пришел вам предложить... заниматься латинским языком, – сказал он.

– Зачем? – удивилась Муся и засмеялась.

– Чтобы лучше почувствовать город, в котором мы находимся, – ответил Тептелкин.

– Я и без латинского языка знаю город, – ответила Муся. – Но я вам рада. Вы такой славный, такой славный. Дайте шляпу и палку.

Они сели на старенький диван.

– Где ваш друг? – спросила она, чтобы начать разговор.

– Он очень занят, – ответил Тептелкин. – Я его давно не видел. Мне передавали, что...

– Нет, нет, я так спросила, – перебила Муся, – лучше расскажите, чем вы занимаетесь.

– Нет, нет, не будем говорить обо мне, – ответил Тептелкин. «Как сказать, – думал он, – как сказать о самом главном?»

– Моя мама скоро придет из церкви, – сказала Муся. – Мы напьемся чаю с вареньем.

«Как же сказать о самом главном, – думал Тептелкин, – сказать такому невинному и светлому существу?» Он побледнел.

– Извините, я очень спешу, – и, почти не попрощавшись, вышел.

«Живот у него, что ли, заболел!» – рассердилась Муся. Ей стало скучно. Она подошла к клетке и, задумавшись, стала тыкать кенаря пальцем. Тот перелетал с жердочки на жердочку.

«Экая пакость, – подумала Муся, – все мои подружки выскочили, а я остаюсь. Скука-то какая!»

Она подошла к пианино, стала играть «Экстазы» Скрябина.

Вошла мать.

– Убери книги со стола, – сказала она.

– Какие книги? – продолжая играть, повернула Муся голову. – Ах, должно быть, Тептелкин забыл.

Подошла к столу, стала перелистывать книги.

– «Vita Nuova» – прочла вслух.

– Пустяками человек занимается, – заметила мамаша. Из одной книги выпал листок. Муся подняла:

Мой бог гнилой, но юность сохранил.
И мне страшней всего упругий бюст и плечи,
И женское бедро, и кожи женской всхлип,
Впитавшей в муках муку страстной ночи.
И вот теперь брожу, как Ориген,
Смотрю закат холодный и просторный.
Не для меня, Мария, женский плен
И твой вопрос, встающий в зыби черной...

В страшном волнении Тептелкин вернулся домой и тут только заметил, что забыл книги.
– Боже мой! – почти закричал он. – Марья Петровна прочла. – Он сел на постель и запустил пальцы в свои седеющие волосы.

В это время раздался звонок.

– Это я, – ответил голос.

В комнату вошел неизвестный поэт.

– Не отчаивайтесь, – на прощанье сказал неизвестный поэт, – все устроится. Девушек никто не знает.

Муся прочла поднятый листок и задумалась. Быстро выпила чашку чая. Сказала, что голова болит, легла в постель.

«Какой славный Тептелкин! Значит, правда, что он девственник. Боже мой, как интересно! Это удивительный человек в нашем городе. Скотов ведь сколько угодно. Как грустно жить ему, должно быть... Обязательно выйду за него замуж. Мы будем жить как брат с сестрой. Удивительной жизнь будет наша».

Утром неизвестный поэт вошел в Мусину комнату.

– Я пришел за книгами Тептелкина, – сказал он. – Тептелкин в ужасе, что вчера он так неожиданно ушел. Вы просматривали книги? – спросил неизвестный поэт.

– Нет, – ответила девушка. – Я итальянскому языку не обучалась.

– Тептелкин очень любит вас и страшно идеализирует, – заметил как бы про себя неизвестный поэт.

– Я тоже люблю Тептелкина, – заметила тоже как бы про себя девушка.

– Вы составили бы счастливую пару, – отходя к окну, как бы в пространство сказал неизвестный поэт.

Увидев, что девушка покраснела, он попрощался и вышел, унося книги.

– Они самоотверженные существа, – проговорил неизвестный поэт, входя в комнату Тептелкина. – Я сказал, что вы ее любите и просите ее руки.

Пели певчие. На розовом атласе стояли Марья Петровна и Тептелкин. Над их головами легкие венцы с поддельными камнями. Марья Петровна в белом платье, Тептелкин в черном костюме. Позади любопытствующие инвалиды и папиросницы, старушки от Моссельпрома. Брак совершался тайно.

После свадьбы долго стоял Тептелкин на балконе, смотрел вниз на город, но не видел пятиэтажных и трехэтажных домов, а видел тонкие аллеи подстриженных акаций и на дорожке Филострата. Высокий юноша с огромными глазами, осененными крылами ресниц, шел, фонтаны глотали воду, внизу дрожали лунные дуги, а наверху дворец простирал свои крылья, а там, за аллеей фонтанов, море и рядом с юношей, почтительно согнувшись, идет он – Тептелкин.

Глава XXIII. Ночное блуждание Ковалева

Зимой Наташе стало легче. Ей показалось, что Кандадыкин должен полюбить ее. Она решила, что пора бросить глупости и выйти замуж.

Прошел месяц.

В декабрьский вечер, по мягкому снегу, Кандадыкин пришел. Это был техник.

– Мускулы-то, мускулы-то какие, – говорил он после чая. – Я настоящий мужчина, не то что расслабленная интеллигенция. Мой отец швейцар, а я в люди вышел. Я теперь могу для вас обстановку создать, можно сказать, золотую клетку. Вам работать не придется; я, можно сказать, человек стал, но мне нужна жена, о которой заботиться надо. У всех моих товарищей жены – что надо, высшие существа.

– Я не девушка, – скромно потупила глаза Наташа.

– Вот удивила, – ответил Кандадыкин, – девушки за последние годы в тираж вышли. Девушек в нашем городе вообще нет. Мне надо дом на хорошую ногу поставить, с вазочками, с цветами, с портьерами. Я хороший оклад получаю. А девушка мне на что. А вы и наук понюхали, и платья носить умеете. Мне нужна образованная жена, чтоб перед товарищами стыдно не было. Вы у меня салон устроите. Я человек с запросами. Мы за границу попутешествовать поедем. Я английскому языку обучаюсь. Я энциклопедию купил, я сыну французенку нанял. У меня две прислуги, я не кто-нибудь, я – техник.

Миша Ковалев за этот год ничего не добился. Изредка работал на поденной. В такие дни вставал он в шесть часов утра, застегивал прожженную шинель, отправлялся носить кирпичи, ломать разрушающиеся здания, возил щебень на барки. Только к концу года добился он постоянной работы, прошел в профсоюз, стал старшим рабочим по бетону. Все чаще подумывал он о женитьбе. Начал копить деньги. Решил в первый пасхальный день просить руки Наташи.

Утром в первый день Пасхи, как всегда в этот день, он вытащил китель с бомбочками из глубины шкафа, достал из-под половицы погонь с зигзагами и вензелями, осмотрел китель, покачал головой, осмотрел чакчиры и еще более задумался. Они были изрядно поедены молью. Достал иголки, нитки; привел свое достояние, насколько мог, в порядок, оделся, вымыл руки дешевым одеколоном, качая головой, смотрел на свои поредевшие волосы, застегнул поношенное, купленное по случаю статское пальто и, махнув рукою, вышел.

Он даже нанял извозчика, ехал и думал: вот опять он взбежит по лестнице, ему, как всегда в этот день, откроет дверь Наташа, он вскочит в комнату, похристосует, «извините», – скажет он, сбросит пальто, наденет шпоры. Затем они опять споют вместе «Ах, увяли давно хризантемы», затем он один споет «Пупсика», затем он скажет, что получил постоянное место, и предложит ей руку и сердце.

Извозчик остановился. Михаил Ковалев расплатился и быстро побежал вверх. Долго стучал он. Наконец ему открыла бывшее ее превосходительство. Он прошел в переднюю, поцеловал мягкую руку, поздравил, сказал: «Простите, Евдокия Александровна, я сейчас». Надел шпоры, снял пальто, повесил. Вошел в комнату. Генеральша тщательно за ним заперла дверь.

– Какое идиотство, – вскричал, быстро вставая, генерал Голубец, вместо приветствия, – на седьмом году революции щеголять в форме. Вы еще нас подведете. Не смейте являться ко мне в форме!

Выходя, рассерженно хлопнул дверью.

– Где Наташа? – спросил растерянно Ковалев.

– Наташа вышла замуж, – ответила рыночная торговка.

«Как же я? – подумал Миша Ковалев. – Что же мне теперь делать!»

Постоял, постоял.

– Вам лучше уйти, – тихо сказала рыночная торговка. И поднесла платок к глазам. – Иван Абрамович сердится.

Протянула руку.

Долго возился Миша в полутемной передней, чуть не позабыл снять шпоры, застегнул пальто, поднял воротник, надел мягкую летнюю шляпу.

– Что будет, что будет?

Вспомнил присмотренную комнату для совместной жизни. Вспомнил, как на прошлой неделе приценялся к столику, двум венским стульям, потрепанному дивану.

Прислонился к перилам. Летняя шляпа полетела вниз. Он сошел по ступеням, поднял ее, вышел из дома, остановился, посмотрел на освещенное окно в верхнем этаже. Никогда, никогда не войдет он больше туда. Никто его ласково не встретит, и нет у него жены, и нет у него формы, никогда он больше ее не наденет.

«Какая страшная жизнь», – подумал он.

Всю ночь блуждает Ковалев перед темной массой зданий женской гимназии. Погасли все огни, забылся тяжелым сном город.

Сквозь тяжелую дрему пришли к Ковалеву кавалеры и дамы. Кавалер-юнкер крутит усы и танцует мазурку. Как он быстро опускается на одно колено! Как барышня несется вокруг него!

Фонари маскарадные горят – все в полумасках, у всех дам бутоньерки. И взвивается серпантин вокруг люстр и цветной падает.

«Как быстро пала империя, – думает Ковалев. – Отреклись от нас отцы наши. Я не ругал последнего императора, как ругал отец мой, как ругали почти все оставшиеся в городе штаб-офицеры».

– Да будет ли он любить ее так, как я? – прислонился он головой к женской гимназии.

– Как она несчастна! – почти плакал он.

И все искал по городу успокоения.

И опять возвращался к женской гимназии, и стоял, и грустно крутил гусарские усики.

Наташа распоряжалась. Стол ломился от закусок. В хрустальных графинах стояло 30° вино. Мерцали бокалы, купленные по дорогой цене у одного разорившегося семейства. Огромная пальма осеняла своими листьями Кандадыкина, сидевшего посередине. Вокруг сидели подвыпившие друзья Кандадыкина.

После ужина пела знакомая певица из Академического театра. Длинноволосый поэт читал стихи, в которых повествовалось о цветах нашей жизни – детях. Затем он читал о свободе любви, затем зашел разговор о последних новостях на заводе, об очередной растрате. Затем Н. Н. подрался с М. Н. и долго и упорно били друг друга по морде. А потом заплакали, помирились.

Под утро длинноволосый поэт говорил Наташе о необходимости бороться с порнографией.

– Подумать только, – высказывал он новые и оригинальные мысли, – скоро, чего доброго, у нас появится новая Вербицкая. И чего это цензура смотрит. У нас должна быть жесткая и неумолимая цензура. Никакой поблажки порнографам.

– Но вы ведь пишете о свободной любви, – задумчиво вращая кольцом с бриллиантом, сказала Наташа.

Молодой поэт стал играть носком желтого ботинка.

– Свобода любви, – возмутился молодой поэт – это не порнография. Женщина должна быть свободна, как и мужчина. Порнография – это описание груди и движений, рассчитанное на возбуждение скверных инстинктов.

Глава XXIV. Опытная мобилизация

Назначена была опытная мобилизация, и многие инвалиды благодарили Бога за то, что у них нет ноги или руки, что они ослепли на один глаз или что у них изуродованы пальцы. Они, сидя в своих папиросных будочках, смотрели на обеспокоенные лица горожан и думали, что все же у них больше шансов остаться в живых, чем у проходящих здоровых людей.

И ночью они вернулись к своим семьям и молодым женам еще более ценящие жизнь, чем когда-либо.

Возможность войны, как болотные огоньки, прыгала почти рядом, и одиноким героям моего романа страшна была вторая война, как новая смерть. Действительно, дух их сформировался в ужасную эпоху, и запах трупов хотя и не долетал до города, но все же психологически в нем присутствовал. И хотя мои герои не обладали никаким имуществом, все же им не хотелось отправляться вторично в могилу, хотя бы и психологическую.

Глава XXV. Под тополями

Снова весна. Снова ночные встречи у барочных, неоримских, неогреческих архитектурных островов (зданий). Толщенные деревья Летнего сада, молодые деревца на площади Жертв Революции, кустики Екатерининского сквера напоминают о времени года рассеянному или погруженному в сутолоку жизни. Пробежит какая-нибудь барышня, посмотрит на деревцо: «А ведь весна-то...» – и станет ей грустно. Пробежит какая-нибудь другая барышня, посмотрит на деревца: «А ведь весна-то!» – и станет ей весело. Или посидит какой-нибудь инвалид на скамеечке, бывший полковник, получающий государственную пенсию, и вспомнит: здесь я ребенком в песок играл, или: там в экипаже ездил. И вздохнет и задумается, вытащит пыльный платок, издающий целую серию запахов: черного хлеба, котлет, табаку, супа, и отчаянно высморкается. Спрячет платок – и нет в воздухе целой серии запахов.

Или пройдут по аллейке – ученик трудовой школы, нежно обнявшись с ученицей трудовой школы, и сядут рядом со старичком, и начнет ученица щебетать, и длинношеий ученик на ее макушку петушком посматривать и кукурекать. Или опять появится Миша Котиков, известный биограф, и сядет вот на ту скамеечку у небольшого кустика и начнет пробивающуюся бородку пощипывать, раскроет записную книжечку, опустит голубенькие глазки и примется список оставшихся знакомых Заэвфратского просматривать.

Неизвестный поэт за последние годы привык к опустошенному городу, к безжизненным улицам, к ясному голубому небу. Он не замечал, что окружающее изменяется. Он прожил два последних года в оформлении и осознании, как ему казалось, действительности в гигантских образах, но постепенно беспокойство накапливалось в его душе.

Однажды он почувствовал, что солгали ему – и опьянение, и сопоставление слов.

И на берегу Невы, на фоне наполняющегося города, он повернулся и выронил листки.

И вновь закачались высокие пальмы.

Неизвестный поэт опустил лицо, почувствовал, что и город никогда не был таким, каким ему представлялся, и тихо открыл подсознание.

«Нет, рано еще, может быть, я ошибаюсь», – и как тень задвигался по улице.

«Я должен сойти с ума», – размышлял неизвестный поэт, двигаясь под шелестящими липами по набережной канала Грибоедова.

«Правда, в безумии для меня теперь уж нет того очарования, – он остановился, склонился, поднял лист, – которое было в ранней юности, я не вижу в нем высшего бытия, но вся жизнь моя этого требует, и я спокойно сойду с ума».

Он двинулся дальше.

«Для этого надо уничтожить волю с помощью воли. Надо уничтожить границу между сознательным и подсознательным. Впустить подсознательное, дать ему возможность затопить светящееся сознание».

Он остановился, облокотился на палку с большим аметистом.

«Придется навсегда расстаться с самим собой, с друзьями, с городом, со всеми собраниями».

В это время к нему подбежал Костя Ротиков.

– Я вас ищу, – сказал он. – Мне про вас сообщили ужасную новость. Мне сказали, что вы сошли с ума.

– Это неправда, – ответил неизвестный поэт, – вы видите, уме я в здравом, но я добиваюсь этого. Но не думайте, что я занят своей биографией; до биографии мне дела нет, это суетное дело. Я исполняю законы природы; если б я не захотел, я бы не сошел с ума. Я хочу – значит, я должен.

Начинается страшная ночь для меня.
Оставьте меня одного.

Ибо человек перед раскрывшейся бездной должен стоять один, никто не должен присутствовать при кончине его сознания, всякое присутствие унижает, тогда и дружба кажется враждой. Я должен быть один и унести в свое детство. Пусть явится мне в последний раз большой дом моего детства, с многочисленностью своих разностильных комнат, пусть тихо засияет лампа над письменным столом, пусть город примет маску и наденет ее на свое ужасное лицо. Пусть моя мать снова играет по вечерам «Молитву Девы», ведь в этом нет ничего ужасного, это только показывает контраст ее девических мечтаний с реальной обстановкой, пусть в кабинете моего отца снова находятся только классики, несносные беллетристы и псевдонаучные книги, – в конце концов не все обязаны любить изощренность и напрягать свой мозг.

– Но что будет с гуманизмом? – трогая остренькую бородку, прошептал Костя Ротиков, – если вы сойдете с ума, если Тептелкин женится, если философ займется конторским трудом, если Троицын станет писать о Фекле, я брошу изучать барокко, – мы последние гуманисты, мы должны донести огни. Нам нет дела до политики, мы не управляем, мы отставлены от управления, но мы ведь и при каком угодно режиме все равно были бы заняты или науками или искусствами. Нам никто не может бросить упрек, что мы от нечего делать взяли за искусство, за науки. Мы, я уверен, для этого, а не для чего иного и рождены. Правда, в пятнадцатом, в шестнадцатом веках гуманисты были государственными людьми, но ведь то время прошло.

И Костя Ротиков повернул свои огромные плечи к каналу.

Тихо качались липы. По Львиному мостику молодые люди прошли на Подьяческую и принялись блуждать по городу.

«Восемь лет тому назад, – думал неизвестный поэт, – я так же блуждал с Сергеем К.»

– Но теперь пора, – сказал он, – я пойду спать.

Но лишь только Костя Ротиков скрылся, лицо у неизвестного поэта исказилось.

– О-о... – сказал он, – как трудно мне было притворяться спокойным. Он говорил о гуманизме, а мне надо было побыть одному и собраться с мыслями. Он был жесток, я должен был пережить снова всю мою жизнь в последний раз, в ее мельчайших подробностях.

Неизвестный поэт вошел в дом, раскрыл окно:

– Хоп-хоп, – подпрыгнул он, – какая дивная ночь.

– Хоп-хоп! – далеко до ближайшей звезды.

Лети в бесконечность,
В земле растворишься,
Звездами рассыпешься,
В воде растопишься.

– Чур меня, чур меня, нет меня, – он подскочил.

Лети, как цветок в безоглядную ночь,
Высокая лира, кружащая песнь.
На лире я, точно цветок восковой,
Сижусь и пою над ушедшей толпой.

– Голос, по-видимому, из-под пола, – склонился он. – Дым, дым, голубой дым. Это ты поешь? – склонился он над дымом.

Я Филострат, ты часть моя.
Соединиться нам пора.

– Кто это говорит? – отскочил он.

Пусть тело ходит, ест и пьет —
Твоя душа ко мне идет.

Ему казалось, что он слышит звуки сistr, видит нечто, идущее в белом, в венке, с туманным, но прекрасным лицом. Затем он почувствовал, что изо рта его вынимают душу; это было мучительно и сладко. Он приподнял веко и хитро посмотрел на открывающийся город. Улицы были затоплены людьми, портики блестели, колесницы неслись.

– Вот как! – встал он. – Я, кажется, пробуждаюсь. Мне снился какой-то страшный сон.

– Куда вы, куда вы, Аполлоний! – услышал он голос.

– Остайся здесь, – качаясь, выпрямился неизвестный поэт. – Я сейчас вернусь, мне надо посоветоваться о путешествии в Александрию.

Он вышел из дому и, шлепая туфлями, шел по тротуару. Поминутно он раскланивался с воображаемыми знакомыми.

– Ах, это вы, – обратился он к прохожему, принимая его за Сергея К. – Как это любезно с вашей стороны, что вы воскресли! – хотел он сказать, но не смог.

«Я не владею больше человеческим языком, – подумал неизвестный поэт, – я часть Феникса, когда он сгорает на костре».

Он услышал музыку, исходившую от природы, жалобную как осенняя ночь. Услышал плач, возникающий в воздухе, и голос.

Неизвестный поэт сел на тумбу, закрыл лицо руками.

Встал, выпрямился, посмотрел вдаль.

Утром неизвестный поэт совершенно белый сидел на тумбе, втянув голову в плечи, бессмысленные глаза его бегали по сторонам. Воробьи кричали, чирикали, кралась кошка, открылось окно, и голый мужчина сел на подоконник спиной к солнцу. Затем открылись другие окна, запели кенари. Послышалось плескание воды, появилась рука, поливающая цветы, появились две руки, развешивающие пеленки, появился человек и поспешил, другой человек появился и тоже поспешил.

Глава XXVI

Можно было видеть, как в халате по саду ходил неизвестный поэт и бормотал, и записывал, и подпрыгивал, и хлопал в ладоши, и натыкался на деревья. И видно было, что он все это проделывает от радости. Затем он, выпрямившись, ходил взад и вперед, и лицо его сияло. За решеткой в будке сидел сторож и разговаривал с милиционером.

Подснежники цвели в саду, и над садом было голубое небо. Неизвестный поэт сидел на скамейке и писал, и рука его все стремилась вверх. Строчки с каждым днем все поднимались. Иногда воробей слетал на скамейку и начинал подсакивать и с любопытством посматривать на неизвестного поэта; карандаш бегал по бумаге. Затем неизвестный поэт шел в свою палату и засыпал, а когда просыпался, как манияк хватал карандаш и писал. Затем приходил доктор, щупал пульс, заставлял сесть, ударял по коленям. С каждым днем ноги неизвестного поэта все слабей и слабей подпрыгивали под ударами докторского молоточка. С каждым днем лицо доктора становилось все самодовольнее и самодовольнее, с каждым днем все меньше и меньше писал неизвестный поэт. Наконец наступило время, и неизвестный поэт больше ничего не писал.

Глава XXVII. Междусловие

Собственно идея башни была присуща всем моим героям. Это не было специфической чертой Тептелкина. Все они охотно бы затворились в Петергофской башне.

Неизвестный поэт занимался бы в ней словогаданием. Костя Ротиков не отказался бы от нее как от явной безвкусицы.

Пока я пишу, летит ненавистное время. В великом рассеянии живут мои герои по лицу Петербурга. Они не встречаются больше, не совещаются. И хотя уже весна, восторженный Тептелкин не ходит по парку, не срывает цветов, не ждет друзей... К нему друзья не придут. Не встанет он рано утром, не будет читать сегодня одну книгу, завтра другую.

Не будут они говорить в спящем парке, что хотят их очаровать, что они представители высокой культуры.

Глава XXVIII. Тептелкин и Марья Петровна

Тептелкин читал фолианты, которые некогда так сильно волновали человечество. Боже мой, ведь всегда книги волнуют человечество. И чем лучше новые книги старых. И они станут когда-нибудь старыми. И над ними когда-нибудь будут смеяться. А в старых книгах солнце и душевная тонкость, и смешные чудачества, и невежество, и чудовищный разврат; все есть в старых книгах. Но Тептелкин в них видел только солнце и душевное изящество, разврат и невежество для него как-то темнели и становились случайным явлением, неотделимой частью мироздания. Для него одно лицо было у мироздания, и Возрождение для него сияло одной своей стороной. Вполне светоносным было для него Возрождение.

Вот Тептелкин сидит, а вокруг летают мухи и садятся на его шею и на страницы книги. Сидит у его ног на скамеечке Марья Петровна и чистит картошку. Но картошка не американское ли растение, а мух не изгнал ли из Неаполя Вергилий.

– Марья Петровна, – говорит Тептелкин, – знаешь ли ты чудную легенду о Фениксе поэзии латинской – Вергилии и мухах?

Прошло два года.

Уже Тептелкину было тридцать семь лет. Уже он был лыс и страдал артериосклерозом, но все же он любил читать Ронсара и, возвращаясь со службы из Губоно домой и пообедавав, он сидел, окруженный Петраркой и петраркистами и плеядой, и совсем близко от него стоял нежный и ученый Полициано.

Марья Петровна сидела у Тептелкина на коленях и целовала его в шею и, вращаясь, целовала в затылок и изредка радостно подвизгивала.

«Да, – философствовал Тептелкин, – конечно, Марья Петровна не Лаура, но ведь и я не Петрарка».

В тихой квартире его, – квартира состояла из двух комнат, – пахло обезьянами – уборная была недалеко – и кислой капустой – Марья Петровна была хозяйственная натура. У окон стояли двухлетние виноградные кусты, чахлые и прозрачные. Над головами супругов горела электрическая лампочка.

Уже не было у Тептелкина никаких мыслей о Возрождении. Погруженный в семейный уют или в то, что казалось ему уютом, и поздно узнанную физическую любовь, он пребывал в некоторой спячке, все время усиливающейся от прикосновений Марьи Петровны. Нельзя сказать, что он не замечал недостатков Марьи Петровны, но он любил ее, как старая вдовушка любит портрет своего мужа, изображающий то время, когда исчезнувший был еще женихом. Целуя Марью Петровну, он чувствовал, что в ней живет прекрасная мечта о невозможной братской любви и что, как только она начинает говорить об этой любви, выходит глупо.

Давно он расстался со всеми надеждами, отрекся от них, как от иллюзии неуравновешенной молодости. «Все это были инфантильные мечты», – между прочим, иногда, говорил он Марье Петровне.

Уже был у него в кармане чистый носовой платок и вокруг шеи заботливо выстиранный воротничок, и часто к нему заходил изящно одетый Кандалькин и говорил о новом быте, о том, что заводы строятся, о том, что в деревнях не только электричество, но и радио, о том, что развертывается жизнь более красочная, чем Эйфелева башня, что на юге строится элеватор, второй в мире, после нью-йоркского, что копошатся тысячи людей – инженеров, рабочих, моряков, штейгеров, грузчиков, кооператоров, извозчиков, десятников, сторожей, механиков.

«Пусть, – думал Тептелкин, – ярко освещены электричеством деревни, пусть мычат коровы в примерных совхозах, пусть сельскохозяйственные машины работают на лугах, пусть развертывается жизнь более красочная, чем Эйфелева башня, – чего-то нет в новой жизни».

Марья Петровна разливала чай в недорогие, но приятные чашки с мускулистыми фигурами. На прощанье, склоняясь, Кандалыкин целовал нежно руку Марьи Петровны и просил зайти Тептелкина и Марью Петровну провести вечерок.

Но все же тихой музыкой билось сердце Тептелкина, все же в глубине души он верил в наступающие мир и тишину, грядущее сотрудничество народов.

Под руку с Марьей Петровной Тептелкин идет к Кандалыкиным. Идут они по проспекту 25-го Октября.

Идут они, лысый и маленькая, а вокруг магазины правительственные. Если поднять глаза – дома крашенные. Нога чувствует панели ровные.

Ласково встретил Кандалыкин супругов.

– Ну как? – обратился он к Тептелкину. – Как ваши лекции? Легче вам теперь материально? Жаль мне было, что такой человек пропадал.

– Да, он совсем увлечен ими, – ответила за Тептелкина Марья Петровна. – Он вам благодарен, он изучает социальные перевероты от Египта до наших дней.

– Помните, – прохаживается по комнате Кандалыкин, – как я несколько лет тому назад случайно попал на вашу лекцию? Я тогда понял, что вы человек превосходный. Хотя вы читали тогда бог знает какую ерунду.

– Не ерунду я читал, – оправдывается Тептелкин, – только все ерундой какой-то вышло.

Весна не наступала. Вода из-под почвы била и брызгала, когда кто-либо из ранних дачников или из двухнедельных обитателей домов отдыха и здравниц пускался в поле. Деревья стояли омерзительно голые, и на фоне их дрались петухи, лаяли собаки на прохожих, и дети, засунув палец в рот, созерцали провода.

Тептелкин был печален. Он шел домой и думал о том, что вот и палец можно истолковать по Фрейду, он думал о том, что вот омерзительная концепция создалась столь недавно.

Читал ли он философское стихотворение, вдруг фраза приковывала его внимание и даже любимое стихотворение Владимира Соловьева:

Нет вопросов давно, и не нужно речей.

Я стремлюсь к тебе, словно к морю ручей, —

приобрело для него омерзительнейший смысл.

Он чувствовал себя свиньей, валяющейся в грязи. Он, вытянув губы трубой, стоял в задумчивости.

Молочница возвращалась из города, громыхая пустыми бидонами из-под молока.

«Да, продает с водой», – подумал он и еще сильнее вытянул губы.

Молочница взглянула на худощавого человека с вытянутыми губами в виде трубы и прошла мимо.

Небо опять потемнело, небольшое легкое пространство скрылось, пошел мелкий дождь.

Тептелкину было все равно, он только надел шляпу и закрыл глаза. «Надо идти».

– Пришел, – встретила Марья Петровна Тептелкина, – что же ты по дождю шляешься? Это неостроумно. Повестка тебе, твоя книга идет вторым изданием.

– Биография! – воскликнул Тептелкин, – всякую дрянь печатают. Чем хуже напишешь, тем с большей радостью принимают.

– Да что ты ругаешься, не хочешь писать – не пиши, никто тебя за язык не тянет, – рассердилась Марья Петровна.

– Эпоха, гнусная эпоха меня сломила, – сказал Тептелкин и вдруг прослезился.

– Точно с бабой живу, – подпрыгнула Марья Петровна, – вечные истерики!

Тептелкин ходил по саду, яблоня, обглоданная козами, стояла направо, куст сирени с миниатюрными листьями – налево. Он ходил по саду в галошах, в пенсне, в фетровой шляпе.

– Никто не носит теперь пенсне! – кричала из окна Марья Петровна, чтобы его позлить. – Теперь очки носят!

– Плевать! – кричал снизу Тептелкин, – я человек старого мира, я буду носить пенсне, с новой гадостью я ничего общего не имею.

– Да что ты ходишь по дождю! – кричало сверху.

– Хочу и хожу и буду ходить! – кричало снизу.

Глава XXIX. Костя Ротиков

Особой зловещей тихостью и особой нищенской живописностью полн Обводный канал, хотя его прорезают два проспекта и много мостов над ним, из которых один даже железнодорожный, и хотя на него выходят два вокзала, все же он нисколько не похож на одетые гранитом каналы центра, тмин и бузина и какие-то несносные листья поднимаются от самой воды и по косой линии доходят до деревянных барьеров. Железные уборные времен царизма стоят на ножках, но вместо них постепенно появляются домики с отоплением, того же назначения, но более уютные, с деревцами вокруг. По-прежнему надписи в них нецензурны и оскорбительны, и как испокон веков, стены мест подобного назначения покрыты подпольной политической литературой и карикатурами.

Некоторые молодые люди вынимают здесь записные книжечки из кармана и внимательно смотрят на стены и, тихо ржа, записывают в книжечки «изречения народа».

В один ясный весенний день можно было видеть молодого человека, идущего с семью фокстерьерами вдоль стены по Обводному каналу. По палочке с кошачьим глазом, по походке, по трухлявому амуру в петлице, по тому, как лицо молодого человека сияло, каждый бы из моих героев узнал Костю Ротикова.

– Милые мои цыплята, – остановился Костя Ротиков, – вы пока побегайте, а я спишу некоторые надписи. – Он сломался, похлопал Екатерину Сфорца по собачьему плечу, пожал лапку Марии-Антуанетте, покомкал уши королеве Виктории, приказал всем вести себя скромно; скрылся в уборную.

В то время как он с карандашом стоял и списывал надписи, собачки бегали, резвились, нюхали углы здания, некоторые, скосив морду, жевали прошлогоднюю травку.

Костя Ротиков вышел, позвал своих собачек, спрятал записную книжечку и направился далее, к следующей уборной.

В воскресные дни он обычно совершал обход и пополнял книжечку.

Возвратившись домой, в глухую квартиру на окраине, он зажег свет, собаки прыгали вокруг него, лизали руки, подскакивали, лизали шею друг другу и ему, а Виктория, подскочив, лизнула его в губы. Он поднял Викторию и поцеловал ее в живот. Он был почти влюблен в песиков, они казались ему нежными и хрупкими созданиями, он строго охранял их девственность и ни одного кобеля не подпускал близко. Тщетно плакали весной его собачки, тщетно они катались по полу и визжали, лезли на предметы, – он был непреклонен.

Наиболее визжащую он брал на руки и ходил с ней по комнате и убаюкивал, как малого ребенка.

Сегодня вечером, после возвращения с прогулки, его фокстерьеры визжали и бились в судорогах, разевали жалобно рты, только Виктория ходила спокойно, то есть страшно спокойно.

Тщетно Костя Ротиков, спрятав книжку в письменный стол, предлагал им кусочки белоснежного сахара, они визжали и жалобно смотрели на него.

Тогда он стал кричать на них.

Как побитые – они успокоились.

Засыпая вместе с ними, он стал думать о своем романе.

Эта рыжая дама думает, что он влюблен в нее.

Утром он перечел то, что он называл мудростью народа. Покормил временно успокоившихся собачек и отправился на службу.

Там под люстрами фарфоровыми с букетцами, хрустальными с капельками, металлическими с пуговками и цепочками, ходил он, улыбаясь, расставлял, определял и расценивал предназначенные на аукцион предметы. Там сидел он на разноспинной мебели и беседовал с

другими молодыми людьми, внимательно его слушающими, нажав на мокрую губку, наклеивал этикетки на подносимые ему фигурки.

Иногда ему становилось скучно. Тогда он просил какого-либо молодого человека, благоговевшего перед его познаниями и веселостью, завести музыку.

«Ах, мейн либер Аугустхен, Аугустхен, Аугустхен...», или венский вальс, или «На сопках Маньчжурии», или «О клэр де ла люн».

Костя Ротиков слушал внимательно.

В комнате направо группами помещалось пять гостиных, в комнате налево – три спальни.

В то время как Костя Ротиков, в невозможной позе сидя в кресле, окруженный молодыми людьми, рассматривал предметы и объяснял, в зал вошел человек с желтым чемоданом, в желтых сапогах, в пятнистых носках, спец по рынкам. Затем вкатился круглый человек с гитарой под мышкой, затем вбежали две барышни и стали бегать от предмета к предмету, затем пришел заведующий в чечунчовом костюме.

В понедельник 18-го апреля Константин Петрович Ротиков поздно ночью пришел с пирушки научных сотрудников.

Блаженно улыбаясь, Костя Ротиков раздевается, ложится на диван, сильно потертый, поворачивается к стене, успокаивается. Он видит пятнадцать новооткрытых комнат, выходящих на Неву. Все они уставлены коллекциями. Это безвкусица, пожертвованная им.

В апартаментах толпятся иностранные ученые, и путешественники, и отечественные профессора, и научные сотрудники. Он со всеми раскланивается и объясняет. Свистит носом Костя Ротиков со сна.

Туманные пятна, зеленые, красные, фиолетовые. Появляется банкет.

Костя Ротиков сидит, седой, в кругу своих почитателей, ему читают адреса и приносят телеграммы.

Вот поднимается хранитель Эрмитажа:

«Уважаемые коллеги, мы приветствуем Константина Петровича суб-люце-этерна (sub luce aeterna). Открыть новую область в искусстве не так легко. Для этого надо быть гениальным, – и, опираясь двумя пальцами на стол, он, помолчав, продолжает: – Константин Петрович Ротиков почти с самого нежного возраста, когда обычно другие дети заняты бегом или торгуются и прыгают на перроне перед паровозом, уже чувствовал беспокойство настоящего ученого. Тщетно его звали погулять, тщетно ему приказывали прокатиться в шарабане – он изучал искусствоведческие книги. В семь лет, когда ему еще повязывали салфетку вокруг шеи, он уже знал все картины Эрмитажа и по репродукциям – Лувра и Дрездена. К десяти годам он уже побывал в главнейших музеях Европы и как взрослый присутствовал на аукционах».

«И когда все было изучено, только тогда он приступил к труду своей жизни».

«От лица эрмитажных работников позвольте вас, Константин Петрович, приветствовать и благодарить за открытую область искусства и за пожертвованные в наше хранилище экспонаты».

Тогда подымается неизвестный поэт, уже достигший всеевропейской известности. Седые волосы падают ему на плечи. Золотые драхмы с головами Гелиоса сверкают на его манжетах.

«Наше поколение не было бесплодно, – раскланивается он на аплодисменты, – и в невообразимо трудную годину мы сплотились и продолжали заниматься нашим делом. Ни развлечения, ни насмешки, ни отсутствие денежных средств не заставили нас бросить наше призвание. В лице Константина Петровича я приветствую своего дорогого соратника и милого друга. Расцвет, который мы наблюдаем теперь, был бы невозможен, если бы в свое время наше поколение дрогнуло».

Все встают и аплодируют седым друзьям.

Подымается с бокалом известный общественный деятель – Тептелкин, высохший старик, с прекрасными глазами. Голова его окружена сиянием седых волос, слезы восторга текут по щекам.

«Я помню как сейчас, дорогой Константин Петрович, ясный осенний день, когда все мы собрались в башне, в старой развалившейся купеческой даче...»

Тоска охватила Костю Ротикова. Он проснулся. Облокотился на подушку. Смотрит... падают хлопья снега, похожие на рождественские.

«Рано, – думает, – зима».

«Страна страшно бедна, – все же встает он. – У нее сейчас только насущные потребности, никакую умственную роскошь она себе позволить не может. Допустим даже, что мою книгу все одобрили бы. Но кто в силах издать огромный том, рассчитанный на небольшой круг читателей?»

Сколько лет провел он в библиотеках, рассматривая порнографические книжки и репродукции, как часто посещал он недоступные для публики отделения музеев и изучал изображения в мраморе, слоновой кости, воске и дереве... Сколько картин, гравюр, набросков, скульптур теснилось в его воображении...

Порнографический театр времен возрождения (субстрат античность), порнографический театр восемнадцатого века (субстрат народность). Но все же в этой области у него были предшественники, а на Западе были соответствующие труды, но в области изучения безвкусицы – никого. Здесь он начинатель. Это дело более трудное, более ответственное. Здесь надо начинать с азов, с примитивнейшего собирания материала.

В это синее утро, как некогда, Костя Ротиков видел весь мир с его необъятными, несмотря на все порубки, лесами, с его океанами пустынь, несмотря на железные дороги, с его взнесенными железобетонными городами и городами бумажными, с его кирпичными селениями и селениями деревянными. Мимо него дефилировали расы, племена, отдельные уцелевшие роды. «Если легко определить безвкусицу, стоя посреди комнаты, – думает Костя Ротиков, – определить элементы безвкусицы в западноевропейском искусстве, то куда трудней определить в китайском, японском и почти невозможно в столь мало изученном, несмотря на огромный интерес к нему, проявившийся в последние годы, – в негрском искусстве. Но если обратиться к искусству, возвращенному археологией, к искусству египетскому, сумеро-аккадийскому, вавилонскому, ассирийскому, критскому и другим, то здесь вопрос становится еще более сложным и проблематичным».

В наступающем дне у Кости Ротикова опустились руки; спина согнулась, он испытывал настоящие муки. Внезапно он вспомнил, что все изменилось.

Его друг, неизвестный поэт, скрывается, переехал, нигде не показывается, быть может, уехал.

Тептелкин, по слухам, женился и обзавелся новым кругом друзей.

Он, Константин Петрович, теперь научный сотрудник, но это для души.

Константин Петрович отправился в институт, помещавшийся на набережной. Он поздоровался с привратницей Еленой Степановной, сидящей в кресле рядом с камином.

– Как ваше здоровье, Елена Степановна? – спросил он.

– Зябну, – ответила та, – зябну.

Он поднялся по лестнице, вошел в прихожую, там ему пожал руку вахтер и ласково подвел его к стенной газете.

– Продернули вас.

И действительно, на стене в кругу профессоров и научных сотрудников он увидел себя, сидящим и демонстрирующим, с ученым видом, уринали. Он поднялся в библиотеку. Поднял голову от книги, стал рассматривать находившихся в ней.

Весь мир незаметно превращался для Кости Ротикова в безвкусицу, уже ему больше доставляли эстетических переживаний изображения Кармен на конфетной бумажке, коробке, нежели картины венецианской школы и собачки на часах, время от времени высывающие язык, чем Фаусты в литературе.

И театр для него стал ценен, значителен и интересен, когда в нем проявлялась безвкусица. Какая-нибудь женщина с обнаженной грудью в платье времен его матушки, на фоне дорических колонн, пляшущая и сыплющая цветы на танцующих амурах, уже не в шутку нравилась ему. Глухие кинематографы с изрезанными, из кусочков составленными лентами волновали его и приводили в восторг безвкусицей своей композиции. Рецензийки, написанные заезжим провинциалом, в которых проявлялся дурной вкус, безграмотность и нахальство, заставляли его смеяться до слез, до возвышеннейшего и чистейшего восторга. Он ходил на все собрания и тщательно подмечал во всем безвкусицу. Он получал восторженные письма от молодых людей, зараженных, как и он, страстью к безвкусице. Иногда ему казалось, что он открыл философский камень, с помощью которого можно сделать жизнь интересной, полной переживаний и восторга.

Действительно, весь мир стал для него донельзя ярким, донельзя привлекательным. В его знакомых для него открылась бездна любопытных черточек, для него привлекательных по-новому. В их речах он открывал тайную безвкусицу, не подозреваемую ими. И тут он стал получать письма из провинции. Провинциальная молодежь, до которой неведомо какими путями дошли слухи об его занятиях, просыпалась, уже в медвежьих углах начали собирать безвкусицу, чтоб исцелиться от скуки.

Вместе с Тептелкиным старел Филострат – теперь он стал для Тептелкина сухеньким бритым старичком с болтающимися кольцами на пальцах, составителем придворного романа.

Еще некоторое время слабенькая и ненавистная тень следовала за Тептелкиным, наконец и она пропала.

Глава XXX. Черная весна

На Карповке, в двухэтажном доме, бывшем особняке, похожем на серый ящик с дырками, увенчанный фронтоном и гербом со сбитой короной, по-прежнему жил философ. В доме, кроме него, жили китайцы, приехавшие из провинции Шандунь, делающие бумажные веера, которыми кустари украшают ту стену, у которой стоит зеркало.

Андрей Иванович ясно чувствовал, что он освещает вопросы философии и методологии совсем не перед той аудиторией, перед которой разрешать их должно, что, в общем, это какая-то дикая забава. К чему методология литературы его вечному спутнику фармацевту? Зачем он читает свои трактаты вечно подвижным и практическим людям? Но все же философ стал готовиться к лекции. Некоторые положения уже давно были набросаны, надо было развить их.

Он смотрел вниз на вечерний город, на движущиеся толпы с иными движениями, с размашистой походкой, с трубками во рту.

Колокольный звон донесся со стороны.

– Здесь я сотрудничал в специальных философских журналах, которых было почти достаточно. Здесь напечатана была моя работа, в свое время известная, здесь я защищал ее на звание профессора.

Философ прошелся по большой комнате, оклеенной дорогами, но выцветшими обоями.

Он увидел гостиную в ее прежнем виде.

Услышал философские и литературно-философские разговоры.

Вот едет он в поезде. Против него сидит Петр Константинович Ротиков. Он вспомнил первую встречу с женой в имении под Москвой, где он гостил у одного из приятелей.

Снова он чувствовал легкую прогулку среди высоких, золотых полей.

Она идет с ним рядом в длинном платье, в соломенной шляпке, под светлым зонтиком и радостно смеется.

Сложив зонтик, бросается бежать по дороге и, обернувшись, предлагает поймать ее, и он, поймав, долго держит ее за руки, она стоит, не говоря ни слова.

После этого происшествия они почувствовали, что они близки друг другу и дороги.

Философ прошелся, наткнулся на стул, расхлябанный стул с золоченой спинкой – стул из спальни жены.

За дверью кто-то царапался.

Вошла четырехлетняя босоногая малютка и стала шагать рядом с философом, напевать и хлопать в ладоши.

– Я русська, я русська.

За стеной завздыхала гитара.

Мимо дверей прошла метельщица, одноглазая, с косым ртом.

Он остановился. Ребенок остановился тоже. Он посмотрел вниз. Рядом с ним крохотная девчурка – дочь соседа-китайца и метельщицы.

– Детка, уйди, – сказал он, – дяде надо побыть одному. Но ребенок сосал палец и не уходил. Он вывел девочку и запер дверь. Сел в кожаное кресло – кресло из кабинета, развернул лежавший на столе пакет, нарезал сыру, сделал бутерброды.

«Не пойду, – подумал он, – не пойду, на кой черт им всем мои лекции!»

На салфетку, заткнутую за ворот, сыпались крошки, но все же через час он вышел. На набережной он столкнулся нос к носу с фармацевтом.

– А я за вами! – радостно произнес фармацевт. Дом на Шпалерной был освещен.

Лифт действовал.

Дом был построен в модернистическом стиле. Бесконечное число пузатых балкончиков, несимметрично расположенных, лепилось то тут, то там.

Ряды окон, из которых каждое было причудливо по-своему, были освещены. Кафельные изображения женщин с распущенными волосами на золотом фоне были реставрированы.

Он нажал на металлическую ручку двери с гофрированными стеклами, на которых изнутри были освещены лилии.

По главной парадной он поднялся в первый этаж, в просторные палаты, занимаемые семьей путешествующего инженера N.

Фармацевт следовал за ним.

После лекции должно бы было начаться обсуждение.

– Позвольте вам, Андрей Иванович, передать варенье, – сказала молоденькая жена инженера.

Комик из соседнего театра с презрением ел печенье.

– Ну что, Валечка, развлекалась? – после ухода философа спросил инженер.

Китаец, скопив денег или, может быть, вызванный событиями, уехал на родину.

В тот же вечер метельщица сошлась с другим китайцем.

Через два месяца она умерла от неудачного аборта.

«Русська» устроилась в уголке, в комнате философа, на положении кошки. Иногда он покупал ей молока.

Сам выпускал ее во двор и видел, как она бегает вокруг дерева.

Это не было актом милосердия. Он просто знал, что ей некуда деться.

Он даже ей купил как-то игрушку и смотрел, как она с игрушкой возится.

Постепенно появилось в углу нечто вроде постели, а на ребенке ситцевое платьице и туфельки.

В эту весну Екатерина Ивановна сильно грустила. Когда Заэфратский был жив, ей ребенок не нужен был. Она сама себя чувствовала девочкой рядом с этим большим, путешествующим человеком.

Все чаще ночью охватывал ее ужас нищеты и улицы. Иногда, ночью, она вставала, подходила в одной рубашке к окну, и, широко, как окна, растворив глаза, смотрела вниз. Напротив шумел и блестел ночной клуб, безобразные сцены разыгрывались у входа.

«Был Миша Котиков, – иногда вечером вспоминала Екатерина Ивановна, – но и он исчез, а с ним можно было поговорить об Александре Петровиче». – Она доставала портрет Александра Петровича.

«Миша Котиков просил меня подарить ему какую-нибудь рукопись, – вспоминала она. – Но у меня нет ничего, все друзья Александра Петровича взяли. Вот разве альбом с пейзажами».

Днем во дворе заиграл шарманщик, с дрожавшим и нахохлившимся зеленым попугаем, по-прежнему вынимавшим счастье. Со двора нечувствительно повеяло возвращением с дачи или из-за границы; черная весна похожа на осень.

– Хорошо было бы пойти в балет, – встала она в классическую позу.

Закружилась.

– Хотя, ведь балет устарел.

– Михаил Петрович давно говорил, что он устарел. Она остановилась, села на постель и заплакала.

– Все, что я люблю, давно устарело...

– Никто меня не понимает...

– Да понимал ли меня Александр Петрович, такой умный, такой умный!

– Может быть, он всегда меня несколько презирал?

– Ведь мужчины на меня всегда свысока смотрят.

Мокрое от слез лицо она подняла и, как вполне взрослый человек, устремила в пространство.

В дверь постучали и передали письмо.

«Дорогая Екатерина Ивановна, мне удалось для вас выхлопотать пенсию. Извините, что раньше я ничего не писал вам. Это было очень трудно и до последнего момента.»

Письмо было от дореволюционного друга Александра Петровича из Москвы.

Это было так неожиданно, что Екатерина Ивановна вдруг почувствовала, что она постарела. Она подошла к зеркалу.

Морщинки бежали вокруг глаз и вокруг рта. Волосы были редкие. Ей захотелось быть снова молоденькой.

Она надела шляпу и светлую жакетку, еще раз посмотрела в зеркало и подкрасила губки, бледные и слабые.

Пошла в особняк Заэвфратского.

Екатерина Ивановна поднялась по мраморной лестнице, установленной всевозможными восточными уродинами, еще не убранными.

Сейчас здесь был Домпросвет.

Был час занятий, и девушки в красных платочках бегали по лестнице туда и сюда и звали других девушек и юношей на собрание. Молодые люди в пальто ходили по всем комнатам. Садились на скамейки слушать лекции.

Гостиная, где некогда беседовал Заэвфратский, была превращена в зал для собраний и украшена плакатами.

Открыв дверь в спальню Заэвфратского, Екатерина Ивановна увидела Тептелкина. Склонившись над кафедрой, он старательно читал краткую историю всемирной литературы.

Она села на заднюю скамью и стала рассматривать его.

«Как он обрюзг», – подумала она.

Воробей залетел в открытую форточку, посидел на раме и принялся летать по комнате. Ученики и ученицы поднялись со скамеек и принялись выгонять воробья. Тептелкин стоял у кафедры и ждал. Грузноватой походкой Екатерина Ивановна подошла к нему.

– Екатерина Ивановна?! – удивился Тептелкин. – Вот встреча-то!

– Я не знала, что вы здесь читаете, – стала строить глазки Екатерина Ивановна.

– В этом ничего удивительного нет... Воробей был изгнан, и лекция возобновилась. Екатерина Ивановна, одна, возвращалась из Домпросвета.

Ветер рвал ее юбочку. Посидев в скверике под весенними снежными хлопьями, она вернулась домой.

«Милый Михаил Петрович, – писала она Мише Котикову, – дорогой друг мой, не согласитесь ли вы зайти ко мне, поговорить. Я для вас нашла альбом Александра Петровича. Мы поговорим об его стихах. Надеюсь, что вы не откажете зайти».

Глава XXXI. Неизвестный поэт

Теперь неизвестного поэта приводили в неистовство его прежние стихи. Они ему казались беспомощными паясничаньем. Музыка, которую он слышал, когда писал их, давно смолкла для него. Он отвернулся от публики, его страшно любившей и прощавшей ему бесчисленные его недостатки.

Лысый, одолеваемый хандрой, он вернулся к матери, некогда брошенной им ради великого искусства.

Она гладила его по лысой птичьей голове, взяв за подбородок, считала морщинки вокруг глаз, спрашивала, все так же ли он много пьет, все так же ли он проводит бессонные ночи среди друзей своих.

Неизвестный поэт ходил по комнате. Дом двухэтажный, широкий, построенный в 20-х годах прошлого столетия французским эмигрантом, до войны предназначался на слом. Теперь в нем отдыхал, сидя во дворе, почтальон с курносым семейством; шитьем существовало разноносое, разноволосое семейство бывшего камергера, обслуживаемое натурщиком; смеялась и скакала по лестницам женщина, гуляющая с матросами по кинематографам и по набережным, и беседовал старичок – бывший владелец винного магазина Бауэр, теперь служащий в винном магазине «Конкордия», у которого по средам и по воскресеньям собирались винтящие старички, бухгалтера и бывшие графы.

Всего этого раньше неизвестный поэт не замечал, хотя давно уже снимал светлую продолговатую комнату у этого винтящего старичка. У этого кооперативного служащего была супруга с подрумяненными щеками и старшая сестра, 80-летняя дистенге. Старичок некогда был испанским консулом.

Уютна была некогда квартира, принадлежавшая испанскому консулу Генриху Марии Бауэру. В гостиной, освещенной газом, в столовой, тяжелой и дубовой, украшенной птицами из папье-маше, на тарелочках, литографиями в рамах черного дерева, с чучелами птиц по стенам, с круглым дубовым столом на круглой ноге и с 8-ю вспомогательными ножками, было приятно бывать. Испанский консул чувствовал себя лицом официальным, в гостиной стояла мебель красного дерева, в кабинете были диваны и портреты монархов: германского императора, российского самодержца, испанского короля. И гальванопластические изображения Лютера и апостолов. На бархатном столике лежал огромный фольант на немецком языке – Фауст Гете, с иллюстрациями в красках. На кухне необыкновенной чистоты стояли Гретхены, Иоганхены, Амальхены, пузатенькие, со всевозможными ручками, со всевозможными горлышками. Испанский консул не говорил по-испански. По вечерам он отправлялся в немецкий клуб, Шустер-Клуб. Там, в особой комнате, так называемой немецкой, пил он пиво из кружки, и все другие пили пиво из кружек, по стенам не было никаких украшений, только висел огромный, в тяжелой золотой раме – портрет Вильгельма II во весь рост.

Неизвестный поэт в семье винтящего старичка наблюдал по средам и воскресеньям за игрою. Поэт чувствовал себя теперь только Агафоновым.

Венгерский граф играл с достоинством, иногда он мягким движением расправлял свои бакенбарды. Какая-то неуловимая мягкость была в его движениях. На нем великолепно сидел жакет, шитый в первый год революции. Граф великолепно говорил по-французски. Рядом с ним сидела его супруга, похожая на маркизу в белоснежном высоком парике, вся в черном, и говорила тоже по-французски. Дальше сидел бывший пограничник с лихими усами, с явными армейскими движениями, затем бухгалтер со сказочными доходами. Никогда здесь не говорили о современности. Разговор всегда шел или о дворе, или о гвардии и армии, или о придворных торжествах в Петергофе при приезде французского президента, или об ухищрениях контрабандистов.

Лысеющий молодой человек пил чай со старичками. Разговор все время возвращался к концу XIX века и к началу XX. Старичок, сюсюкая, рассказав анекдот, начал засыпать, убаюканный воспоминаниями, и даже похрапывать. Восьмидесятилетняя дистенге посмотрела на часы.

Все встали из-за стола.

Наступила тишина.

Вычищенные гущей и песком, на кухне блестели Иоганхены, Вильгельмхены, Гретхены – кухонная посуда на полках.

Утром бывший неизвестный поэт, высунувшись из окна, позвал татарина, ходившего по двору с поднятым лицом и кричавшего.

– Вот что, друг, – сказал он, когда татарин с пустым мешком под мышкой появился в комнате, – у меня накопилось много дряни, хочешь вазочку, пепельницу, книги, вот горсточка старинных монет.

Татарин хмуро ходил по запущенной комнате, где стояла вечно не прибранная постель, где книги валялись на полу, где денежки Василия Темного лежали на тарелочке вместе с раскатавшимся куском мыла, а стекла были до того мутны, что еле-еле пропускали пыльный луч.

Татарин опытной рукой, подойдя к постели, нащупал одеяло, подошел к столику, постучал, посмотрел, не проели ли столик черви.

– Не годится, – сказал он. – Пальто есть? Брюки есть? Пальто, брюки куплю.

– Да что ты, я тебе уже все давно продал! – рассердился бывший неизвестный поэт.

– Зачем неправда говоришь, в шкапу что? – Татарин, подойдя, распахнул дверцы.

– К чему тебе? потом новые купишь! – Он стал рассматривать брюки.

– Да вот ковер в углу, – согласился хозяин комнаты.

– Кровать продаешь? – спросил татарин.

Походив вечером по комнате, бывший поэт отправился в достопримечательнейшее здание.

Он поднялся по лестнице. Согнувшись, уплатил мзду.

Против лысого молодого, румяного крупье сидел Асфоделиев и проигрывал аванс, полученный утром в редакции.

– Ах, Агафонов, – протянул ему руку Асфоделиев, – где вы пропадаете?

– Я занят.

– Чем же вы заняты? – удивился Асфоделиев.

– Не будем об этом говорить, – уклонился лысеющий молодой человек, – я пришел сюда поразвлечься, а не говорить о занятиях.

Асфоделиев посмотрел на него. «Нервничает», – подумал он.

– Прекрасна жизнь, – начал философствовать Асфоделиев. – Надо брать от жизни все то, что она дает. Посмотрите на эти прекрасные пальмы, – и плавным движением Асфоделиев указал на чахлые растения, – слышите, музыка!

Он подошел с Агафоновым к стеклянным дверям. Оттуда неслась шансонетка.

– Взгляните на лица, дышащие азартом, посмотрите, как горят у них глаза, как скребут игроки ногтями сукно.

Но всего этого бывший поэт не видел. Он видел, что крупье опускают с каждого круга десять процентов в разрез стола на нужды народного просвещения, а всякую подачку прячут в жилетный карман, говоря: «мерси». Что все они лысы, упитанны, одеты по последней моде, что растратчики и взяточники толпятся у столов и проигрывают деньги на нужды народного просвещения, что они, присвоив деньги в одном ведомстве, добровольно отдают их другому.

Здесь не было ни дам с крупными серьгами, ни играющих бедер созданий, здесь игра не соединялась с сладострастием; правда, некоторые игроки волновались, все же, несмотря ни на что, они надеялись выиграть.

– Вы романтик, – обернулся бывший неизвестный поэт к Асфоделиеву, – вы скверный, большой ребенок, неужели вы не чувствуете огромной серости мира. Я прихожу сюда, потому что мне нечего делать, потому что после того, как я не сошел с ума, я чувствую себя кукишем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.